

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Новенький как с иголочки



IM WERDEN VERLAG
MOCKBA - AUGSBURG 2003

СОДЕРЖАНИЕ

СВЕРЧОК — ВЕЧНЫЙ ТРУЖЕНИК	3
КЕЛЬЯ МОНАСТЫРСКОГО КАЗНАЧЕЯ	5
ПОСТУПАЮТ В СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО	7
ПОХОДКА БАЛЕРИНЫ	10
ПУСТЬ КОЛ, ДА СОБСТВЕННЫЙ	12
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ	14
СНЕГ ИДЕТ	17
ЧЕРНАЯ КОШКА	20
КАТАСТРОФА	22
ПОТАСОВКА	26
КАРТОШКА	29
ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ	31
ВСЁ, ЧТО ВОКРУГ...	35
ПУТИ ТВОИ НЕИСПОВЕДИМЫ	39
А ЕЩЕ ПРОВЕДЕМ ДОРОГУ	42

Текст печатается по изданию: Булат Окуджава. Стихи, рассказы, повести.
Изд-во: "У-Фактория", Екатеринбург, 1999.
OCR и вычитка: Александр Белоусенко.

© Булат Окуджава. Наследники.
© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003

<http://www.imwerden.de>
info@imwerden.de

СВЕРЧОК — ВЕЧНЫЙ ТРУЖЕНИК

Сутилов похож на маленького Наполеона перед маленьким Ватерлоо. Он уже всего хлебнул на своем веку. Он знает, что почем на свете. Маленькие его руки скрещены на маленькой груди. Он, конечно, знает наизусть всю Калужскую область, как Наполеон — свое поле сражения... Сюда — батальон, сюда — полк, сюда — армия...

Сутилов распределяет учителей по школам области. Я понимаю, как это трудно. Но ведь и мне нелегко. У меня свои планы...

Сюда — батальон, сюда — полк... А меня?..

— В Шамордино, — говорит он, не глядя в глаза.

— Это что еще?

— Деревня, — говорит он.

— Что?!

Я кричу так звонко, так истошно, что самому страшно. Ничего, пусть знает... У него ощерены крупные желтые зубы. Он часто глотает слюну... Ничего, пусть знает... Но я беру себя в руки. И усмехаюсь прямо в глаза ему. И вдруг мне становится жаль его. За окном — серый полдень. А Сутилову приходится всегда смотреть в это окно. На нем серый мятый костюм из дешевого коверкота. Лицо серое, скучное, как последний липовый лист. Он даже звона трамваев не слышит!

Калуга... И все-таки я усмехаюсь, потому что думаю, как теперь каждый входящий будет кричать на него и топтать ногами. Ничего, пусть знает...

— Я могу только в городе работать, — говорю миролюбиво, — мне деревня противопоказана. В городе — это другое дело. А деревня мне противопоказана...

— Нет, — говорит он.

— Да, да, — говорю я, чтобы окончательно его подавить.

— Город не получится, — говорит он спокойно, словно ничего не произошло.

С ума сошел!.. Что он, не понимает ничего?.. Или разыгрывает?..

— Может, я сам могу выбрать себе место под солнцем?!

— Нет, — говорит он.

— Может быть, в вашем Шамордино и публичная библиотека имеется?

— В Шамордино, — поправляет он.

— Значит, я должен плюнуть на аспирантуру ради ваших интересов?

— Нам учителя нужны.

— А мне какое дело?

— А мне какое дело? — говорит он.

Поле боя покрыто пороховым дымом. У маленького Наполеона всё продумано. Его не страшат атаки моих легкомысленных гусар. Он и не такое видывал. Он держит меня своей широкой заскорузлой пятерней за горло. Я чувствую, как она жестка.

— Послушайте, — говорю я, — в ваши обязанности входит считаться с запросами людей?

— Да, — говорит он.

— Мне нужна городская школа... Город мне нужен...

— Нет, — говорит он.

В холодных глазах его — только опыт, много опыта и усталость. Он не хитрит. Он прост, как его кабинет, где — только стол, три стула и карта области на стене.

— Вы хотите, чтобы учитель работал с полной отдачей сил?

— Да, — говорит он.

— Радостно, без раздражения?

— Да, — говорит он.

— Так оставьте меня в городе!

— Нет, — говорит он.

— Я не могу ехать в деревню!.. Мне нельзя приказывать!.. Я литератор, а не солдат!..

Чего вы жмете?.. Не желаю в грязи утонуть!..

Он снова обнажает зубы. Может быть, это улыбка? Так улыбаются, когда хотят ударить, когда можно наконец ударить и не получить сдачи.

— Значит, деревня — это грязь? — спрашивает он шепотом. — Колхоз — это грязь?.. Мы двадцать лет создавали грязь?..

— Вы меня не так поняли, — говорю я шепотом.

— Значит, вы считаете, что наши колхозы — это грязь? — шепчет он.

— Я не то хотел... — шепчу я.

Я знаю, как это бывает, знаю. Теперь не будет ни деревни, ни города... Вот почему небо такое серое, и улыбка на сером лице... Я знаю, как это бывает!..

— Я не то хотел, — шепчу я.

Он отпускает мое горло и кладет пятерню на телефонную трубку. И смотрит на меня выжидательно...

До пятидесятого года я дополз, докарабкался... Теперь — всё. Я знаю, как это бывает.

— Я этого не говорил, — говорю я.

— А я и не утверждаю, — говорит он. — У тебя хорошее, открытое лицо...

— Как жалко, что ни одного места нет в городе, — говорю я.

— Жалко, — усмехается он.

Он дипломат. Хоть это и не нужно. Куда я денусь? Артиллерия его мощна. Он много лет стреляет в одну цель. Что я могу?

Пока я со школьной скамьи тешил себя — он пристреливался. Теперь его снаряды, каждый весом с корову, летят в меня.

— Может быть, найдется одно местечко?

— Нет.

Это потом я буду смеяться над собой и над ним. Сейчас мне не до смеха. Еще один залп — и мои бастионы рухнут. Это потом я буду смеяться. А еще позже я буду вспоминать, даже с уважением и... с ненавистью. От ненависти отделаться не смогу. Но это потом. Сейчас я просто презираю его. Мне не остается ничего другого — я разбит. Презрение — это единственное, что можно себе позволить после того, как ты твердо был уверен в выигрыше и вдруг проиграл.

— Неужели нет ни одного места?

— Нет.

Маленький Наполеон стоит передо мной, скрестив на груди руки. Может быть, все-таки угрызения совести мучат его?.. Или воспоминания о собственной юности?..

В серых глазах его — серое калужское небо. Я кажусь себе жалким под его взглядом.

Ну хорошо, я разбит, разгромлен, но ведь можно сказать что-нибудь человеческое!.. Скажи, ты, недоносок!.. Стань теплее! Положи руку мне на плечо, сними ее с горла!.. Мне ведь немного надо... Я ведь уже твой... Пообещай что-нибудь доброе... Но он смотрит на карту. Сюда — полк, сюда — батальон, сюда — дивизия...

— Может быть, хоть какое-нибудь место, а?

— Нет.

А то, что я представлял себе вчера? Как быть с этим? Я в черном пальто, в руке — портфель. Я медленно иду из школы. Кружатся золотые листья. Вечер. Я живу на тихой улице, где липы и одинокая рябина меж ними. Старинный дом. Скрипучая лестница — туда, наверх,

где моя комната. Книги, книги... Милая немолодая хозяйка, которая по вечерам играет Сен-Санса. Идет дождь. Потрескивают в печи дрова. Сверчок какой-то трудится в углу.

— Сверчок, — говорю я, — вечный труженик.

— Он живет у нас с незапамятных времен, — говорит хозяйка.

— Опять дождь, — говорю я.

— Что-то есть в этом очаровательное, — говорит она, — сверчок... дождь...

— Сыграйте еще что-нибудь, — прошу я.

Она играет. Идет дождь. Глухо звенят часы со стены... Сутилов подходит ко мне.

— Может быть, временное место есть какое-нибудь? — спрашиваю я.

— Зачем так унижаться? — говорит он.

— Мне в городе нужно, — говорю я расслабленно.

— А там, в Шамордине, — говорит он, — бывший женский монастырь. Там Толстой бывал. Можно про это статью написать, диссертацию...

Он даже улыбается. Он заглядывает мне в глаза, словно хочет полюбоваться на мою слабость. Крупные желтые зубы его обнажены в улыбке.

— Чудак, — говорит он, — я же добра тебе хочу. Я ведь любого туда не направлю... Чудак! Понимаю — Москва... А Калуга?.. Разве это город?

Он кладет руку мне на плечо.

— Я тебе честно скажу, — говорит он, — есть в городе одно местечко. Пятый класс. Но неужели ты, филолог, удовлетворишься этим? Городская школа... казарма... штамп... Затеряешься... А там ты — бог, царь, всё. Всё твое. Там грамотные нужны, а здесь — что? Я ведь специально тебя посылаю, — говорит он шепотом, — именно тебя... — и подмигивает. — Сюда я какую-нибудь дуру бездарную ткну, и сойдет.

Он совсем приблизился ко мне. Прощай, Калуга. Прощай, город. Не вышел наш роман. Прощай, незнакомая женщина, играющая Сен-Санса...

— Договорились? — спрашивает он.

— Нет, — говорю я.

— А что же ты поделаешь? — улыбается он.

— Почему это вы на «ты» со мной? — спрашиваю я. И снова — руки на груди. Он презирает меня за слабость. Он отпускает меня на все четыре стороны.

— Черт с вами! — говорю я. — Найду другой город.

Он провожает меня к дверям. Широко распахивает их.

— Видишь? — говорит он.

Я вижу... Вижу. Вся приемная забита вот такими же, как я. Они смотрят на нас выжидательно. Они ждут своей очереди. Там даже такая красивая москвичка мелькает. Она вытягивает шею и подобострастно смотрит на Сутилова.

— Видишь? — смеется он. — Без кадров не останемся.

— Ну и черт с вами, — говорю я и иду через приемную, расталкивая своих коллег.

— Если надумаешь, — кричит он, — возвращайся, примем!

...И я вернулся.

КЕЛЬЯ МОНАСТЫРСКОГО КАЗНАЧЕЯ

Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.

Чемодан и одеяло. И авоська с копченой колбасой. И тючок из зимнего пальто.

Мне немного смешно: сельский учитель. Чем я учить буду? Но здесь прекрасно!

Этот холм, мягкий и заросший, это высокое небо, этот полуразрушенный собор, несколько домишек вокруг... А там, за оврагом, — Васильевка, деревенька, похожая на растянувшуюся детскую гармошку.

Куда ты попал, мой милый, мой дорогой?

Мне немного смешно: у жизни свои планы, их не предусмотреть.

Откуда-то из-за деревни выглядывает испуганное и высокомерное лицо Сутилова. Он поглядывает настороженно: а не переменю ли я планов? А не смеюсь ли? Дам ли ему наконец покой?

Как хорошо! Как тихо! И солнце... Внизу, под холмом, счастливой подковкою изогнулась река. На горизонте — лес. Почему я отказывался ехать сюда? Не помню. Уже не помню... Солнце. Ранний вечер. И ни души. Что может быть лучше после грохота поездов, духоты вагонов, суеты большого города, тряских грузовиков, равнодушных чиновников?

Вещи мои лежат на зеленой августовской траве.

Вот здесь мне работать, в этом двухэтажном старинном кирпичном доме.

— У монахинь здесь трапезная была, — говорит мне Шулейкин, директор школы.

— Петухи поют, слышите? — говорю я, улыбаясь.

У Шулейкина маленькие добрые глаза. Он немного смущен. Это хорошо видно.

— Из университета к нам еще не присылали, — говорит он. — Университет — это не пединститут.

— Конечно, — говорю я значительно. — Впрочем, разве в этом дело? — говорю. — Университет, правда, дает больше знаний, но ведь дело-то в человеке...

— В душе, так сказать, — говорит Шулейкин.

— Конечно, — говорю я.

— В умении найти общий язык, — говорит Шулейкин.

— Еще бы, — говорю я.

Потом приходит завхоз.

— Готова квартира, — говорит он.

Мы берем по вещи каждый и идем по дорожке, и лопухи бьют нас по икрам.

— Хорошо у нас, — говорит Шулейкин. — Жаль, что в войну часть дубов повырубили...

— И так хорошо, — говорю я.

Он улыбается. Я улыбаюсь. Солнце садится.

Коридор каменного домика. Прямо — дверь. Небольшая комната. Белая. Большое окно с видом на реку и луг.

— Вот ваша келья, — смеется Шулейкин.

— Чудо! — говорю я.

— Здесь раньше жил монастырский казначей.

— Ого!

— Вид хороший, — говорит завхоз и уходит.

— А не боитесь глухумани? — говорит Шулейкин. — Серости не боитесь?

— Чепуха!

Знал бы он, как это прекрасно, когда солнце и простор... И нет дождя, проливного, осеннего...

— Тут у всех хозяйство. А вы что есть будете? Магазинов-то нету.

Прощупывает!..

— Буду пить молоко.

— Обзаведетесь хозяйством, — говорит Шулейкин. — Приживетесь. Невесту подыщем, — он смеется. — Не захочется уезжать. — Он говорит об этом недоверчиво и потом — тихо:

— Народ здесь у нас не очень добрый. Вы это учтите.

— Чепуха, — говорю я.

Вот она, моя келья!..

— Ремонт сделаем, — говорит Шулейкин.

— Какой еще ремонт? Зачем?

— Дыры везде... Замерзнете...

— Чепуха.

— Это не чепуха, — мягко говорит он. — Пойдемте походим.

Мы идем с ним по поселку.

— А вон Виташа, — говорит Шулейкин.

Возле школы играют в волейбол.

— Виташа — это учитель, — говорит Шулейкин. — Виктор Павлович. Любит действовать исподтишка...

Поют пчелы. Пахнет медом.

ПОСТУПАЮТ В СВЕТСКОЕ ОБЩЕСТВО

Разве мог я понимать, как прекрасны люди, пока не попал сюда?

Мои восьмиклассники сидят передо мною неподвижно. Они еще многого не знают, но они прекрасны и они мои. Им еще сладка неграмотность, но это не их вина. И холодная осень стремительно кружится по монастырю и обрамляет их лица.

Лица моих учеников неподвижны, но в их глазах давно горят огоньки здравого смысла, иронии, доброты, непримиримости и надежды.

А в это время на деревьях, что раскинулись вокруг, сидят птицы. И они поют. Они похожи на последние осенние листья. Я отчетливо слышу их звонкое пение даже сквозь двойные рамы окон.

Коля Зимосадов входит в класс в стоптанных сапогах, в залатанном пальтишке, с офицерской сумкой через плечо. Это уже через много лет он станет офицером. А пока он садится на свое место, коренастый и неторопливый, и устраивается, и всё раскладывает по своим местам, и смотрит на меня, словно надеется, что именно сейчас-то и раскрою я ему все премудрости учености. Он давно уж перерос свои пятнадцать лет, взрослый маленький мужичок с грубоватыми руками.

— «Окно» пишется, Коля, через «о»... Забыл?

Он краснеет, крутит головой, старательно исправляет ошибку. Кто-то обучал их не очень влюбленно.

— Нравится вам ваша школа?

— Хорошая школа, каменная, — говорит кто-то.

Мне вспоминаются испуганные маленькие глаза Шулейкина, когда я объявил ему, что первый диктант весь класс написал на единицу.

— Что с вами? — спрашивает он.

— Всё в порядке, — говорю я. — Вот посмотрите.

Он дрожащей рукой перелистывает странички.

— Может быть, у вас с дикцией не всё хорошо?

— С чем?..

— Может, вы диктовать не умеете?

— Ну, знаете!..

— Такой грамотный класс, и нате...

Он так говорит об этом, что я чувствую себя виноватым, хотя и недели не прошло, как я вошел в этот класс.

— Вы отметки в журнал не ставьте, — говорит он. — Кошмар какой-то...

— Что случилось? — спрашивает Клара Ивановна.

Она завуч. Она преподает ботанику. Ботаники они почти не знают. Она просто читает ученикам главы из учебника. Наверное, потому лицо у нее всегда испуганное.

Она смотрит то на меня, то на Шулейкина круглыми коровьими глазами, и полные ее губы слегка приоткрыты в томительном ожидании.

Потом она всплескивает руками:

— Что же вы наделали?!

— Я думаю, нужно еще один диктант провести, — говорит Шулейкин. — Полегче...

— Катастрофа, — говорит Клара Ивановна.

Виташа подмигивает мне по-дружески из другого угла учительской.

— Ну что же, — говорю я, — давайте попробуем.

Мы пробуем.

Шулейкин приносит мне новый текст для диктанта. Текст примитивен и короток.

— Это же для учеников пятого класса, — говорю я.

— Вот и хорошо, — говорит он. — Будет положительный результат.

Он при этом смотрит мне прямо в глаза, и я чувствую себя дураком.

— Вот и хорошо, — говорит он, — сложное мы еще успеем.

— Дурак, — шепчет мне Виташа, — начнешь с простого, отметки будут хорошие, а потом перейдешь к сложному — колы пойдут... А кто обучал? Ты... Кто виноват? Ты... Дурак.

Я диктую этот примитивный текст. Я диктую, как Левитан. Я декламирую, как Яхонтов. Пусть они не думают, что у меня с дикцией слабо.

А птицы поют. Красные, желтые, зеленые, черные, они поют, сидя на ветках деревьев.

А Шулейкин медленно ходит по рядам. Он иногда останавливается. Тычет пальцем в тетради моих учеников.

— Разве здесь одно «н»?..

— Подумай-ка над этим словом... Вот теперь другое дело.

— Запятые-то позабыл...

— Зачем вы подсказываете? — говорю я шепотом.

— Какие же это подсказки? — говорит он громко. — Они волнуются... Это помощь маленькая.

Потом мы вместе проверяем диктанты.

— Ну это можно за ошибку не считать, — говорит он, — и это, пожалуй, тоже...

Он улыбается мне:

— Теперь вам будет легче. Не помоги я, кто знает, что было бы...

Он делает жест правой рукой, словно пытается понять себя. Он доволен. Единиц нету. Двоек нету. Троек много, но это не страшно. У Гены Дергунова — пятерка.

— Ничего не понимаю, — смеется Шулейкин, — это же самый слабый ученик...

— Вы ему много подсказывали.

— Да помогал я! Какие это подсказки? Даже не помогал, а подбадривал.

Потом он сам, собственноручно выставляет отметки в журнал.

Потом он говорит по телефону с заведующим районо. Я слышу:

— Новенький?.. — говорит Шулейкин и улыбается мне. — Отлично. Успеваемость дает стопроцентную...

Я делаю ему знаки. Я пытаюсь его остановить. Это очень неудобно, когда тебя хвалят при тебе же. И за что?

Но что-то теплое обволакивает меня. Теплое и волнующее. На одно мгновение. В детстве, когда тетка говорила обо мне кому-нибудь: «Он самый хороший мальчик», я испытывал то же самое.

Неужели так просто и покупается покой? Я смотрю на Шулейкина. Он скромн, вежлив, сдержан... Он хочет мне добра... Но он учит меня подлогам!.. Нет, он хочет мне добра... и себе... и всем. Он учит меня подлогам.. Легко возмущаться и обвинять... Нет, он учит меня подлогам... Нет, он хочет мне добра... Вот он улыбается и кивает мне. Он улыбается, потому что скрутил меня!.. Но в его улыбке — что-то дружеское и теплое. Приятна его улыбка и нужна. Я совсем одинок. Я пока никого не знаю. Кто-то нужен рядом. Клара Ивановна глупа и истерична. Виташа смотрит в свой огород... Шулейкин тоже одинок... Нельзя видеть в людях только плохое, нельзя... У него нелегкая жизнь... Ему приходится бороться... За что?.. И Клара Ивановна улыбается...

А птицы горланят во всё горло. Их пестрый хор отчетливо слышен сквозь двойные рамы окон.

И Ваня Цыганков, рыжеволосый и косматый, разинув рот, влюбленно вслушивается в их пение. И мне не хочется его будить, отрывать, мешать ему.

Он сидит за партой неуклюже, рассыпавшись на составные части: нога — там, рука — в другом месте, голова под солнцем, под последним... Впрочем, никакого солнца и нет...

А Саша Абношкин, сын председателя колхоза, продолжает свою речь:

— ...После этого они поступали в светское общество...

— Как это «поступали»?

Он мнетя. Он самолюбив. И колок. Ну ладно, я ведь тоже всё это прошел и знаю. Я тоже самолюбив... Мне только двадцать шесть, а не пятьдесят.

— Как это «поступали»? Это что, учреждение? Школа?

Он молчит. Я сбил его.

— Ну как ты это себе представляешь? Здание такое, да?

— Ну, здание...

— Двери, окна, вывеска над входом, да?.. Написано: «Светское общество», да?

— Кто его знает...

Потом, когда я с грехом пополам вдальбливаю в их неприспособленные, практичные головы эту абстрактную чепуху, Саша Абношкин говорит мне, прищурившись:

— А зачем это нам? Трактор и без этого пойдет.

— Ты это серьезно?

Он усмехается.

— Ладно, — говорю я миролюбиво, — будем считать, что теперь истина установлена.

— А я и раньше знал, — говорит Саша Абношкин.

Голова его вздернута неимоверно. Он старается смотреть на меня сверху вниз. Он из тех, кто участвует в соревнованиях только тогда, когда абсолютно уверен в своей победе. Если он не уверен, он откажется от соревнований. Он будет тайком тренироваться до тех пор, пока не почувствует, что готов выйти и победить. Он начинает огрызаться, презирать, ненавидеть...

— Всякий нормальный человек должен любить читать, — говорю я.

— А вот бабка Прасковья не любит, — медленно говорит Гена Дергунов. — Что ж она, ненормальная?

Они объявляют мне войну. Не кровавую, не смертельную, не ожесточенную... Но такую, что держи ухо остро перед их ранней земной мудростью и насмешливостью. Это война добрая. Это означает, что тебя признали... Наверное, это честь для меня, что они снизошли до единоборства со мной. Легкое, изящное «кто — кого», оно ведь нам не в тягость...

— Но оно мешает, — мягко говорит Шулейкин. — С ними нужно быть построже... Распускать нельзя... всякие вопросыики... каламбурчики... Ученик учиться пришел? Вот и пусть учится, а над учителем подтрунивать...

— Мне видней, — говорю я.

— Нет, мне видней, — мягко говорит Шулейкин. — По диктанту тоже спорили, а вышло...

— Вышел подлог, — говорю я шепотом.

Почему я говорю об этом шепотом?

Он молчит.

— Здорово ты его рубанул, — смеется на улице Виташа.

— А ты-то что же молчал? — спрашиваю я.

— Да я не успел, — говорит он растерянно.

Ужасно заставлять людей врать и оправдываться...

— Ладно, — говорю я, — замнем. Я пошутил.

— Мне здесь жить, — говорит Виташа. — Ты-то уедешь. Ты сегодня здесь, завтра — там... А мне здесь оставаться.

А птицы поют...

ПОХОДКА БАЛЕРИНЫ

Она кутается в мамкин платок. И переминается с ноги на ногу. А на ногах ее — старые валенки, подбитые резиной, и большие нелепые латки на тех валенках.

Но когда она делает шаг, в классе становится тихо.

Или это мне кажется?

И она идет в мою сторону. Она идет плавно, слегка покачивается на ходу, как балерина. Это такая особая походка, словно кончиком ноги слегка прикасаются к воде: не холодна ли?

— Скажи-ка мне, Багреева...

А о чем спрашивать — не знаю.

За окнами — голые холмы, серое небо. А может быть, и дождь сыплет... А Багреева держит высоко прекрасную свою голову. Она стоит прямо передо мной, только на меня не смотрит.

В классе очень тихо. Я не должен был ее вызывать первой. Она слишком необычна для этого. Хороша слишком. Еще подумают... Видят ли они, как она хороша?

А она стоит, не глядя в мою сторону, и ее большие ресницы (Господи, как нарисованные!) колышутся слегка, подобные мягким темным крыльям.

— Возьмите мел, Багреева.

Для чего этот мел?.. Ну что она будет писать?..

Она берет мел. Маленькая, тонкая ее рука высовывается из рукава. На ней старомодный пиджак. Мужской. А рука маленькая и тонкая. А пальцы красные, и кожа на них потрескалась. И в этих красных, озябших пальцах — белый мел...

Я должен обучать ее прекрасным стихам, и она должна научиться не смотреть мне в глаза так пугливо и даже не отворачиваться, и она должна знать себе цену... Бред какой-то!

Там, за окнами, ветхие крыши Васильевки темнеют над оврагом. Знают ли они, для чего я сюда приехал?

— Вы знаете, кто такой Сен-Санс?

Кто-то тихо смеется. Она вздыхает. Она смотрит на меня громадными карими своими глазами. Она вздыхает. Кто-то смеется. Я листаю журнал и ничего не могу прочесть в нем. Почему я на «вы» с ней?..

Вот она стоит передо мной, Багреева Вера. Что она думает о себе?.. Хоть бы согрела руки, чтобы пальцы оттаяли, чтобы мел не дрожал и не крошился... Она вздыхает. Почему это я говорю с ней, с восьмиклассницей, на «вы»?..

— Вы не знаете, кто такой Сен-Санс?

— Что?..

За окнами — голые холмы, серое небо. Скоро снег, скоро снег...

— Положи мел, Багреева.

Она кладет мел. Она краснеет. А там, в Васильевке, уже зажигаются огни. Керосиновые лампы с закопченными стеклами стоят, как солдатики, на столах. Туда, через овраг, на те огни, по мокрой скользкой осенней дороге пойдет Багреева Вера. Походка ее будет плавна, как у балерины.

— Багреева, ты была когда-нибудь в театре?

— Нет.

Она вздыхает. Неужели она не знает, как она красива?

— Кто из вас бывал в театре?

Все сидят неподвижно.

— А знаете ли вы, что такое трамвай?

Да, конечно, они слышали. Он гремит по утреннему городу. Я вижу напряженное лицо водителя и заспанные губы кондукторши. Я покачиваюсь на задней площадке, трясусь... вместе со всеми своими радостями, и раздумьями, и печалью... И пассажиры толкают меня под бока...

Это старое уродливое электрическое животное — трамвай! Но на нем я уезжал в будущее, когда еще не существовали троллейбусы...

...Она будет идти по скользкой дороге. Будет уже темно вокруг. Ведь теперь темнеет рано. Осень ведь... Знает ли она о том, как она красива?.. И в губах — ничего детского, уже ничего... В деревнях взрослеют рано.

— Что ты будешь делать, когда домой вернешься?

Кто-то смеется. А может быть, кашель сдерживает...

— Воды наношу, — говорит она и смотрит в окно.

И уже ни пиджака мужского на ней, ни старого платка, ни валенок разбитых, ни красных, озябших пальцев... Что-то светлое, легкое, гордое...

Она идет по проходу к своей парте. Вот так она и будет идти всегда мимо молчаливых товарищей, мимо Васильевки, и проход меж рядами — это как продолжение поздней осенней дороги...

— В деревне часто встречаются великовозрастные ученики, — говорит Шулейкин в учительской.

— Какие?

— Ну, переростки. Условия труда, и всё такое прочее. Вот, например, Вера Багреева...

Он смотрит мне в глаза прямо и подозрительно.

— Не помню, — говорю я.

— Вера Багреева... Красивая такая...

— Не помню, — говорю я.

— Ей вот, к примеру, семнадцать, а она в восьмом...

— Она что, тупая?..

Он смотрит прямо в меня. Маленькие глазки его не моргают.

Шалишь! Ничего не получится. Я не таковский. Я тоже не дурак.

А за окном — темень. И три керосиновых солдата с трудом освещают учительскую. И Вера Багреева носит воду. И коромысло изгибается на ее плече. И красными, озябшими пальцами она придерживает мокрое дерево. Сыплет дождичек осенний, а она идет медленно, но легко, покачивается. Она ступает так, словно пробует воду в реке кончиками пальцев.

— Неужели вы не заметили Багрееву? Такая красивая, стройная девица. У нее мать тоже... Особенно раньше... А у этой, у дочери, ресницы мохнатые...

— Не помню, не заметил.

— Городским она нравится. Нынешним летом инспектор молодой из Калуги приезжал... Возвращаться не хотел.

— Не помню, — говорю я. — Не помню Багрееву.

Конечно, если снять с нее эти валенки... Мне двадцать шесть — ей семнадцать. Это значит, девять лет разницы. Не так уж много...

— Вон вы какой красивый, — говорит Шулейкин.

— С чего это вы взяли?

— У вас усики черные, и вообще брюнет...

— Ну так что же?

Девять лет — такие пустяки...

— Непросвещенное мнение русских женщин относительно брюнетов... — поясняет Шулейкин.

— Да ну что вы...

— Они считают: раз темный, значит, хорошо. Контраст.

Свет падает Шулейкину на лицо, и шрам на носу словно налился кровью. Набух. А в маленьких глазах его — боль и вопрос. Он подстрижен и выбрит на славу. Как это он здесь умудряется?.. Толстые монастырские стены холодные. Печи едва живы. Вот если бы на этом прекрасном холме выстроить прекрасное здание, стеклянное и прозрачное и теплое...

— От холода у учеников руки краснеют, — говорю я.
Он смотрит на меня и слегка улыбается.
— Я видел сегодня: руки красные, озябшие, мел не держат... Обидно...
— У Багреевой Веры руки от кипятка красные, — говорит он, — обварила. — Он смотрит на меня и слегка улыбается. — Конечно, обидно, — говорит он, — такие красивые руки...
Ей семнадцать?.. Вот почему уже ничего детского в молчаливых и неподвижных ее губах.
— Мать у нее красавица, вот увидите... Так сказать, красит наш унылый пейзаж. А летом у нас хорошо.
И он продолжает внимательно вглядываться в меня. И что-то жалкое мелькает в его взгляде. Мне грустно и не по себе. Хочется уйти из этой комнаты, где, кроме стен и стола, покрытого красным сатином, больше ничего нет.

ПУСТЬ КОЛ, ДА СОБСТВЕННЫЙ

И здесь, оказывается, льют дожди. И здесь — холодно и сыро. И келья моя протекает. И четыре кубометра осиновых дров гниют под дождем. Чем я буду зимой отапливаться?
— Еще будут хорошие деньки, — говорит Мария Филипповна, пионервожатая. — Еще в колхозе наработаемся.
— То есть как это?
— Обязательно, — говорит она. — Все пойдем: и ученики, и учителя.
Если бы я был посчастливей, сидел бы сейчас в публичке. Завтракал бы дома. Ходил бы в кино, когда хотел...
— Вы приходите к нам пообедать, — говорит Мария Филипповна. — Что ж на молоке на одном сидеть... Разве можно?.. Живот испортите.
— Я солдат, — смеюсь я. — Я привык ко всему.
А у них дома, наверное, тепло. Они обжились... Дом!
— Мне бы вот сахару достать, — говорю я.
— А вот мы в воскресенье в Козельск за продуктами поедим... Давайте с нами...
Чаю хочется!.. Обыкновенного горячего чаю... Раньше мне хотелось быть великим, хотелось попасть на Северный полюс... Хотелось написать роман... А сейчас хочется чаю...
— А я примус в Козельске куплю. Чай буду варить себе.
Она смотрит на гнилые дрова. Покачивает головой.
— Безобразие, — говорит. — Человек университет окончил, а они дров хороших дать не могли!.. — И оглядывается.
— Кто о н и?
Она смеется. Оглядывается по сторонам.
— Вы потише, — лицо у нее растерянное, — у нас в поселке слышно очень.
— Колхоз тут у вас развалюшка какая-то, — говорю я.
— Тшшш...
Губы у нее становятся белыми. И она шепчет этими белыми губами:
— Что вы... что вы... — И снова громко: — Послевоенные трудности. Ничего, это мы наладим... — И снова шепотом: — А то еще ученики услышат. — Белыми губами: — Они знаете какие?.. — И снова, извиняясь: — Вы мне всю работу испортите...
...Я говорю своим восьмиклассникам:
— Результаты третьего диктанта — колы. Нравится?
Они молчат.
— Не нравится?
Они молчат.
— Цыганков Ваня, тебе нравится?

Он стоит за партой. Крутит рыжей кудлатой головой.

— Ну, нравится тебе такой результат?

— Не-е...

— Кому нравится?

Они молчат.

— Вот и выбирайте. Сами выбирайте, — говорю я. — Как скажете, так и буду поступать.

Что-то подкатывает к горлу. Что-то душит меня. Ну вы, ну поддержите хоть вы меня! Скажите хоть одно слово. Я не знаю, чем это кончится, но давайте воевать...

— Мы можем писать легкие диктанты, как тогда... Если вы хотите. Я даже могу подсказывать вам. Вы меня любить будете за доброту мою... А?

Они молчат.

— Меня все хвалить будут... Хороших дров мне привезут. Будет большой праздник...

Кто-то фыркает. Или я напрасно взываю к ним?

— И спрашивать я буду очень облегченно. И когда буду спрашивать, буду в окно глядеть, чтобы не мешать вам в учебник подсматривать...

Коля Зимосадов сидит насупившись. У Маши Калашкиной растерянная улыбка на некрасивом лице. Шура Евсиков барабанит по парте пальцами. Он очень сосредоточен.

— Хотите такую жизнь? Да? Одно слово, и всё будет по-вашему.

Они молчат.

— Хотите?

— Не хотим, — говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.

— А ты за всех не отвечай, — говорит Саша Абношкин.

— Хотите?

— Лучше, чтоб полегче, — улыбается Маша Калашкина.

Подвел ты меня, Абношкин!

— Полегче не будет, — говорю я.

Они молчат. Бунт?

— Пусть кол, да мой собственный, — говорит Шура Евсиков. — Мне чужие четверки не нужны.

Ааа... Вот оно!

— Зимосадов.

— А мне тоже не нужны...

— А ты, Абношкин?

— А чего я?..

— Нагорит вам потом, — говорит мне Маша Калашкина. — Вам Шулейкин даст...

— Не твоя забота, — говорит ей Саша Абношкин.

— Выставлять колы в журнал? — спрашиваю я.

Они молчат.

— Выставлять?

Они молчат.

— Выставлять или нет?

— Ставьте, — говорит Гена Дергунов и прячется за развернутую книгу.

— Кто за?

Они поднимают руки.

Ну вот, теперь и начнется!.. Зачем мне это? Друг мой, друг мой, за то ли ты взялся?.. А в монастыре бывал Толстой... Забыл ты об этом, забыл... Хватал бы ниточку за неверный ее конец... Потомки спасибо сказали бы!..

— Не тем вы занимаетесь, — мягко говорит мне в учительской Шулейкин. — Возбудили детей.

— Детей? — смеюсь я.

Теперь наши позиции стали хоть определеннее. Теперь легче. Вот — я, а вот — он. Главное теперь — это не нарваться, не раскричаться, не устроить истерику.

— Детей? — смеюсь я.

— Вы еще очень неопытны, — мягко говорит он. — Можете споткнуться...

Я улавливаю легкую угрозу. Она едва ощутима, как в жару — будущий дождь.

— Они не так безграмотны, как вам кажется, — говорит Шулейкин.

— Вы мне угрожаете?

— Вот видите, как вы поняли товарищеский совет? — качает он головой. — Вот видите?..

— А может быть, и в самом деле, — говорит Клара Ивановна, — начать с колов?.. Ну пусть уж...

Он останавливает ее едва заметным движением руки, и она послушно смолкает.

— Послушайте, Михаил Андреевич, — говорю я Шулейкину, — вы что, боитесь меня? Или я ваши планы нарушил? А?

— Я ничего не боюсь, — говорит он.

— А чего вас бояться, — говорит Маракушев Николай Терентьевич вызывающе, а сам смотрит на Шулейкина, словно ждет его распоряжений.

Я резко поворачиваюсь к нему.

— А вы еще откуда взялись? — говорю я ему очень обидно. Но он не обижается. Только бы не сорваться. Пусть знают!.. Еще бы мне широко улыбнуться, помахать им рукой и выйти... Не могу...

— Вы не вмешивайтесь, — говорит Маракушеву Шулейкин.

Они уже между собой воюют. Ладно, у меня тоже свои соображения на сей счет...

ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ

— И всю ночь будем работать? — спрашиваю я.

— Всю ночь и будем, — говорит Виташа. — Это вам не в городе в постельке спать. — Он смеется. Он смотрит на меня. — Ничего, мускулы развивать надо. Покрутите машинку!.. — Потом он успокаивается, говорит серьезно: — Надо ведь колхозу помочь...

Как ему приятно сообщить мне это!

— А ты что, против постельки? — спрашиваю я. — Ты считаешь, что это только для городских сибаритов? Да, Виктор Павлович?

— Я пошутил, — говорит он, и сплевывает на пол, и наступает валенком на плевок.

Нет, нет, никаких вопросов. Разве я возражаю?.. Хоть и есть во всем этом какая-то несуразица... Ладно, учись, дурак. Учись высокому искусству веяния овса... Ладно, не спрашивай. Жизнь так коротка... А что, если тот мешок овса, что тебе суждено провеять, и есть главное, во имя которого — всё? Учись, дурак... И торопись... Виташа посмеивается, но у него узловатые сильные руки... Черт! Неужели до сих пор сильные руки — самое прекрасное, что создал человек?.. Ладно, не спрашивай... Ладно. Молчу... Мы будем веять ночью... Ладно. Днем мы будем учить крестьянских детей быть прекрасными. Ладно, мы пренебрежем постельками... Лейся, золотой овес!.. Трещите, закрома!.. Что делают из овса? Крупу «Геркулес», печенье, овсом кормят лошадей... Машинам нужен бензин...

— А вы тоже идете в ночной поход? — спрашиваю у Шулейкина.

— А как же, — говорит он и пытается обнять сам себя правой рукой. Странная манера.

— Почему это он так делает? — тихонько спрашиваю у Виташи.

— А черт его знает. — Виташа сплевывает и растирает плевок валенком.

— Ну, теперь началось, — говорит Маракушев, — теперь на месяц... Понеслась!..

— Вам-то уж не впервые, кажется, Николай Терентьевич, — говорит Шулейкин обиженно. — Вы-то чего возмущаетесь?

— Гы, гы, — растерянно смеется Маракушев, — я не возмущаюсь, я так...

Мы шагаем по грязной дороге. Впереди — овраг. За оврагом — Васильевка. Там — редкие огоньки. Там — Вера Багреева. Она воду несет на длинном изогнутом коромысле.

Все растянулись цепочкой. По одному. Только Виташа идет со мною рядом.

— Надо бы попроще одеться, — говорит он.

— Опроститься? — смеюсь я.

— Пылью всё забудет... Грязь...

Воздух ночной свеж и чист. И холодок бодрящий. И что-то есть прекрасное в том, как мы движемся по этой дороге. И я иду... Где-то, куда-то, в какую-то Васильевку. Ладно, Виташа, твоя снисходительность великолепна, но я вдоволь порылся во фронтовой земле, и если ты не знаешь, что это такое...

— Ты знаешь, почему у Шулейкина шрам через весь нос? — спрашивает Виташа шепотом.

Откуда же мне знать...

— Он приударял за одной вдовой тут, а она не хотела... А он в окно к ней полез... Она взяла серп... — Виташа смеется прямо мне в ухо, — и тем серпом его по носу...

— А может, он любил ее?

— Любил, — шепотом смеется Виташа. — Любил, — смеется он, когда Васильевка почти вся остается сзади. — Любил, — смеется он мне в ухо и кивает на крайнюю избу: — Вот здесь она живет. Дочка ее, Вера Багреева, у тебя учится. Как утка ходит... Это мать ее... Вдова эта, — он вертит головой и сплевывает на дорогу. — Любил... — смеется он украдкой.

...Я стою у веялки. Я верчу ручку барабана. Вертится легко. Хоть до утра верти.

По сараю гуляет сквозняк. Пыли действительно много. И полова золотая кружится в воздухе. Две керосиновые лампы на столбах висят. Лица у всех медного цвета. Из рукава матерчатого вытекает зерно. И какие-то бабы, закутав платками лица, отгребают его. И кто-то погружает в зерно лопату и сыплет его в подставленный распахнутый мешок.

А я кручу ручку. Рраз... рраз... рраз... Одно и то же.

Проходит с мешком Маракушев.

— Где Виктор Павлович? — кричу ему.

— Сено в сарае укладывает.

Нашел работенку, сельский житель! Сено... Легкое, как пух, сухое, душистое... сено...

— А Шулейкин?

Маракушев сбрасывает мешок с плеча. Машет рукою куда-то в сторону. Ухмыляется неопределенно.

И этот смылся... Ну ладно. Берегись, Виташа. Я тебя перекручу, я над тобой посмеюсь...

— Вы крутите, крутите, — говорит мне баба.

— А я и так кручу, — говорю я. — Вот сейчас пиджак сброшу, еще веселей пойдет.

— Не надо сбрасывать, полова по телу разлезется, — говорит другая.

— Жарко, — говорю я.

Там, у Виташи, сено. Оно прохладное и ароматное. Виташа стреляный воробей. Он знает, где получше...

— Вы ее крутите получше, ручку-то...

— Как еще получше? Так, что ли?..

— Да хоть так...

Пожалуйста, могу и так. Как угодно могу. Лишь бы полова эта проклятая не летела в мою сторону... Она забирается за воротник, и маленькие колючие зверьки разбегаются по всему телу, и нет от них спасения. И пыль смешивается с потом. Лезет в нос, в уши, в рот, в легкие...

А вот ходит в распахнутом полушубке председатель колхоза Абношкин (фамилия-то какая!). Он толст и угрюм. И сопит громко. Даже сквозь грохот веялки слышно. Он ходит и понукает... Почему я должен крутить эту ручку?..

Дышать этой пылью?.. Может быть, он будет собирать материал для задуманной монографии о Толстом? А может быть, она и не нужна? И ничего не нужно? Только овес, золотой овес, душистый овес, ядовитый... Только этот несовершенный механизм, унижающий человека?.. Что нужно?

А у Виташи — сено... Проморгал я. Лечь бы лицом в прохладное сено и раскинуть руки, чтобы они отдохнули. И чтобы поясница отдохнула...

Я меняю руки. То левой кручу, то правой. А крутить все тяжелей и тяжелей. А Маракушев по-прежнему щедро овес засыпает в веялку. Так долго не выдержать.

— Вы что-то помногу сыплете! — кричу я ему. И вместе с криком изо рта моего вылетает комок жеваной пыли и летит в глубину сарая.

А Маракушев всё сыплет. Медное его лицо сосредоточено. Лампы подмигивают со своих столбов. Кружится золотая пыль...

— Давай, давай! — кричат бабы.

Где это Шулейкин прячется, интересно?

— Директор-то ваш опять у Багреихи под окнами пасется, — говорит мне баба.

Ааа... Ему серпа мало. А может, это любовь? Ну не может он без нее, и всё...

— Она ему не даст, — говорит другая, — разве он ей подходит?

Сейчас, когда кончится всё, я пойду к тому дому. Я его там застану. Я ему всё скажу... Что? Всё, всё. Плевать, пусть обижается! Свет клином, что ли?.. Плевать.

— Покрутите кто-нибудь, — говорит одна из баб, — уморился ведь человек.

— Не надо, — говорю я.

Умру, а не отойду. Сейчас придет второе дыхание. Станет легче... Сейчас придет второе дыхание. Там, у Виташи, свежее сено... Ладно, крути, дурак! Крути, дурак, свою дурацкую ручку, учишься высокой мудрости простоты, потом учи других любви к прекрасному... Всё встанет на свои места... Когда-нибудь ты вспомнишь об этом с нежностью...

— Устали? — спрашивает.

— Нет.

— Тогда пошибче давайте.

— Еще шибче?!

— Стало быть, еще.

Невозможно. Пот глаза мне заливает. Он жжет мое тело. Почему это мы должны страдать за этот слабый и нелепый колхоз? Почему всё — такой ценой? Почему учитель истории Маракушев должен носить мешки с овсом?.. И всю ночь?.. И не спать?.. И еще целый месяц?..

Завтра иезуит Шулейкин побежит к нему на урок, потом скажет:

— Вы плохо подготовились.

Самое смешное — это то, что мне не хочется думать о Вере Багреевой... Мне хочется упасть лицом в свежее сено... Хитрец Виташа!..

И снова появляется похожий на ямщика председатель Абношкин. Он стоит и сопит. Он смотрит на Маракушева. Маракушев сидит на мешке.

— Рано отдыхаешь, Николай Терентьич, — говорит Абношкин.

— Гы, гы, — смущенно посмеивается Маракушев и встает.

— Давай, давай! — кричат бабы.

Я кричу из-за веялки Абношкину, прямо в медную его рожу:

— Какого черта вы еще замечания ему делаете?! Вы ему спасибо скажите!

— За что же спасибо? — сопит Абношкин. — До утра успеть надо.

— Да он же не обязан овес ваш носить! Он учитель! Он ведь не обязан! Черт вас возьми!

— Да вы крутите, — говорят бабы.

— А вы если устали... — говорит Абношкин.

— Я не устал! — кричу я. — Я на фронте и не такое пробовал.

— Мало ли что на фронте, — говорит Абношкин, — каждому делу привычка нужна...

А веялка тарахтит. Уже какая-то баба крутит ручку. И Маракушев засыпает зерно. Я поднимаю над головой совсем чужие руки.

Мы идем по спящей Васильевке. Говорить не хочется. Еще темно, но в окнах желтый свет колышется. И хлопают калитки.

Я не виноват, что не выдержал, привычки нет. Никто и не подтрунивает надо мной... Спокойно.

Когда я притащился к сеновалу, Виташа стоял под самым потолком.

— О, — сказал он, — ну-ка покидай, я покурю пока.

Я взобрался на гору пахучего сена, и чужими деревянными руками схватил вилы, и от кого-то внизу принял первый вилок, и хотел было его поднять, но не выдержал и сел, широко расставив ноги... Виташа не видел. Он сидел внизу, покуривая. Потом он крикнул мне:

— Ладно, хватит. Слезай, покурим. Тут уж всё, последний. Я его потом сам кину.

Я устроился прямо на сене. Оно не показалось мне прохладным. Но тело словно пролилось на него.

— Я здесь посижу! — крикнул я сверху. И тут же словно провалился. И только издали слышал неторопливый разговор.

— Все руки сбил, — сказал Виташа. — Такую гору первый раз один навалил.

— А он устал, — сказал Шулейкин, — без привычки трудно.

— Еще бы не трудно, — сказал Виташа. — Даже веялку крутить трудно без привычки.

— Я ему уроки переставлю, пусть подольше поспит, — сказал Шулейкин. И всё это обо мне.

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет. Белый, как сахар, как вата, как бумага. Он белый, как бумага, на которой написаны эти слова, простые и таинственные: «...поздравляю вас с праздником. Ваша ученица».

Праздники давно прошли. Письмо опоздало. И почерк изменен. Это сразу видно. Он аккуратный ученический, девчачий, но изменен. И только характерная завитушка у буквы «а» осталась. И что-то беспомощное проглядывает из нее.

Мне не надо быть следопытом, чтобы не сбиться. Эта буква словно синий четкий след на белом снегу, по которому можно идти до самых дверей. Там — высокое крыльцо, запорошенное снегом, дверь, плотная и отполированная временем. Там — сени, в которых бродит знакомый запах первого тепла, бедности и ожидания.

Снег идет. Скоро к келье моей не пробраться. Он идет, но след отчетливо синееет на его поверхности. И я не пойду по этому следу.

— В деревнях взрослеют рано, — говорит Маракушев. — Я сам женился, когда моей Евдокии шестнадцать было.

— А закон?

— Гы...гы...

— К чему вы об этом?

— Слухи ходят... гы...

— Сплетни...

— Да я ничего... слухи...

Снег идет. Темнеет рано. Он уже синий, этот снег. И след по нему — черный. И эти слова: «Ваша ученица»... Ученица...

Чему я успел научить ее за несколько месяцев? Читать стихи нараспев?

— Багреева, почему ты в пол смотришь?

— Я не в пол.

— Смотри прямо, перед собой. Читай вот так:

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей...

Вот так. Это вдохновенно надо читать.

— Я читаю...

— А у нас в программе этого нету, — говорит кто-то.

Программа? Откуда им известно это слово?! Это в программе, а это не в программе... Не выходите за рамки программы... Я ведь говорил, что учитель из меня не получится. Я не могу читать без конца «Я памятник себе воздвиг...». Я не воздвигал. Он тоже не воздвигал. Он шутил. Не делайте серьезных физиономий! А вам, чудачки, зачем эта программа? Учитесь говорить о любви вот так, в перерывах между школой и работой в хлеву. Торопитесь — нам немного отпущено.

— Давайте дополним программу, а? — смеюсь я.

А они молчат.

— Тот, кто составлял эту программу, никогда никого в жизни не любил...

Они молчат. И лица у них неподвижны. Но что-то все-таки теплится в глазах.

— Он был ханжа. Он думал, что он бессмертен, и не торопился...

— А что такое ханжа?

— Вера, неужели тебе не нравятся эти стихи?

Она торопливо проводит красными пальцами по отворотам пиджака, и с трудом поднимает голову, и смотрит на меня. Одно мгновение.

...Шулейкин говорит мне в учительской:

— Вы там, в классе, своевольничаете.

— Я хочу их разбудить...

— Скажите пожалуйста!

— Я хочу...

— А может быть, вам только кажется, что они спят?

...И снова:

Но пусть она вас больше не тревожит...

И красные пальцы замирают на груди. Теперь она смотрит в окно. Дрожат мохнатые ресницы.

Я не хочу печалить вас ничем.

А была ли счастлива та, кому посвящались эти стихи? Или она равнодушно тряхнула плечиком? Или словам нужно пожить и состариться, чтобы они приобрели смысл? Может быть, им стоило большого труда выкарабкаться из альбома и пойти по свету?

Снег идет.

— Зажгите лампу.

Меднолицые мои ученики плавно приближаются ко мне из полумрака классной комнаты. Ко мне, ко мне... Они плывут в бесшумных своих лодках, и красноватое пламя освещает их лица. И я, словно Бог, учу их простым словам, самым первым и самым значительным.

Ты проговори, Маша Калашкина, эти слова своему лохматому трактористу, когда он поведет тебя в клуб... Вот уж он удивится! Ты даже покажешься ему чужой на мгновение. А ты не теряйся, Маша, ты говори их, говори... И вдохновение на твоём некрасивом лице будет ярче, чем самая дорогая корона на голове безобразной королевы... Ты говори, Маша...

Ты станешь стройным и прекрасным, Ваня Цыганков, когда ты проговоришь это, и твои рыжие лохмы покажутся золотыми, и веснушки будут светиться, и толстые губы приобретут изящество и строгость. Даже в старых своих валенках ты будешь поражать совершенством.

Я тоже меднолиц. Мы из одного племени. Вера Багреева сидит в конце класса за своей маленькой партой. Платок сполз с ее головы. И каштановые ее волосы обнажились. Даже отсюда видно, как огромны ее глаза. И в каждом — по огоньку лампы.

— Так нельзя вести себя с учениками, — сказал Шулейкин, — так нельзя. Нельзя с ними запанибрата. Скоро они вас на «ты» начнут...

— Не начнут.

— Это распускает, — сказал Виташа.

— Ученик должен знать свое место, — сказал Маракушев.

— О чем вы беспокоитесь?

— Так нельзя, — сказал Шулейкин. — Вы человек неопытный, а я знаю.

— Да вы не беспокойтесь...

— Так нельзя.

— Не беспокойтесь...

— Так нельзя.

— Да что я, маленький?

— Гы...гы...

...Снег идет. Плывут ко мне мои меднолицы ученики. Это последний урок. А по дороге домой будет пахнуть снегом. То, что полагается узнавать всю жизнь, за один урок не узнать. И за год не узнать. А школа холодна, как склеп...

— Что там случилось?

— Багреева плачет, — говорит кто-то.

— Что случилось? — спрашиваю я громче.

Я иду меж партами. Жалкий огонек лампы, словно пес, бежит за мной следом. Тени мечутся по стене. Багреева уронила голову на руки.

— Что случилось?

— Она не говорит...

— Верк, а Верк, — говорит Маша Калашкина, — да ты что?

— Может, у нее чего болит? — шепчет губами Цыганков.

— Влюбилась, — смеется Абношкин.

— Иди ты! — оборачивается к нему Маша.

Я учитель. Я педагог. Я старший. А она плачет, Вера Багреева. Трясутся ее плечи. Сильно плачет и молча.

— Что случилось?.. Ну что?..

— Можно, она домой пойдет? — спрашивает Маша.

— Проводи ее, — говорю я.

Вера, не поднимая головы, натягивает тулупчик.

— Застегнись! — кричу я вслед.

Свет лампы бежит за ними до самых дверей. Потом он медленно возвращается на свое место.

Снег идет. Желтые хлопья ударяются о черное стекло.

Я вас любил безмолвно, безнадежно...

Когда-нибудь вы поймете, черт вас возьми, что это всё значит. И я слышу голос Маракушева.

— Гы...гы... — говорит он.

Ему торопиться некуда. Он любит историю. В его громадном теле есть место для всей истории. Но я жалею его. Сам не знаю почему, но жалею. Мне жалко этого громоздкого испуганного историка.

— А если выгонят? — спрашивает он.

- Да за что же?..
- Гы...
- Не может этого быть.
- Ну, сократят.
- Другое место найдется...
- А дом?.. Гы...

У него две кельи. Это его дом. С видом на речку Серену. И громадная керосиновая лампа. И кадушка с солониной в сенях. И тощая, похожая на старую корову, истеричная жена. И трое детей.

- Чего жалеть об этом доме? Сырость, теснота...
- Гы... Две комнаты, а?
- Да лучше уж в какой-нибудь городишко. Там хоть свет есть, в кино сходить можно...
- Это-то всё верно... А у меня здесь поросенок...
- Мясо купить можно...
- А купилка?.. Гы... Я своего осенью под нож — всю зиму щи с мясом. И картофель свой...

Щи с мясом — это хорошо. А у меня в келье — кастрюля вареного картофеля, и ничего больше.

- А нельзя у вас сала немного раздобыть? — спрашиваю я. — Пока в город выберусь...
- Грамм пятьсот смогу, — говорит Николай Терентьич, — пятнадцать рублей. Сало розовое.
- Что?
- Розовое.

Снег идет. Плачет Багреева Вера. Школьный колокольчик раскалывается от усердия. Вот сейчас звон прекратится и трамвай тронется с места.

ЧЕРНАЯ КОШКА

— Грязно-то у вас! — говорит Маша Калашкина. Она стоит на пороге. Холод плывет в комнату. — Хотите, я полы вымою?

- Что я, сам не могу?.. Ты двери закрывай.
- Женской руки вам не хватает.

И это она всерьез... И без хитрости... Это сразу видно.

- Я вымою вам, приберу, ладно? А деньги в получку отдадите, ладно?

Она подбирает юбку. Журчит и плещется вода. Отступает грязь, отступает... Резиночки фиолетовых штанишек виднеются.

- Как твой тракторист?
- Ничего... Любит меня. Сватается.
- Маша, трудно тебе живется?

— А не, мы хорошо живем. Папка-то мой стрижет всех. У нас парикмахера-то нету. И валенки кому подошьет, и галоши залить может. И я кому полы вымою, кому еще как помогу... у нас деньги всегда есть... Хотите, вам одолжу?

- Спасибо, у меня пока есть.
- Конечно, учителям хорошо платят.

Пахнет свежевымытым полом. И дрова горят в печи лучше. Тепло.

- А ты почему учишься плохо, а, Маш?

— У меня мозги такие... Меня и папка бил всё раньше... Верка вот Багреева способная...

Сила...

- Чего она грустит всё?
- А влюбилась...

— Тоже в тракториста?

Она не отвечает. Постукивает мой будильник. Вот так штука! Кто же это? К кому подходишь ты, Вера Багреева, походкой балерины? Меня учили быть решительным, учили... В двадцать шесть лет пора бы уж, а?

— Влюбилась она, — говорит Маша.

Может быть, он на гармонике играет?.. Потом она нарожает ему детей... Будет стряпать... Белое тесто будет красными пальцами замешивать... на желтой доске... «Что это ты не улыбаешься, Вера Багреева?» — «А не с чего...» И Калашкина хороша! Лишь бы растрепаться.

— Когда тебя не любят, веселого-то мало, — говорит Маша.

— Не любит он ее?

— Не замечает.

— Другого найдет. Трактористов много.

— Не, она исплечется вся.

Исплечется... Позову ее... Книги предложу почитать... Пока будет выбирать, буду с нею разговаривать... Я сам виноват, она меня не знает... Вера, всё, что у меня есть, понимаешь?.. Всё, что у меня... Или я пойду сам туда, к ней... Поедем в Москву, а?.. Воистину: человек сложен, а поступки его примитивны. «Что вы...» — скажет она нараспев низким своим сопрано, по-цыгански. И будет красными пальцами, тонкими своими пальцами отвороты пиджака тереть...

— Она-то вообще не грустная, — говорит Маша.

— Ты что это всё на дверь смотришь?

— Я ничего...

— Там что, есть кто-нибудь, в коридоре?

— Не.

Уже давно в келье убрано, а она всё возится.

— Хватит дрова подкладывать. Жара.

— Грейтесь. — Она улыбается.

Хорошо, что природа не забыла дать ей эту улыбку! Ну что бы она без нее?!

— Бабы у нас в монастыре болтают, что вы пьете сильно.

— С чего это они?

— А я почему знаю.

— Я не пью, Маша.

— Они жалеют вас.

— Себя пусть жалеют.

— Верка пьяных не любит...

— Это она про меня, что ли?

— Что вы!..

— Ну кто там в коридоре?.. Может быть, кошка?

— А кто ее знает... Да вы сидите. Это помстилось мне. Я нервная стала.

И я словно вижу сквозь дверь: большая черная кошка медленно идет по темному коридору. Она ступает мягко, бесшумно, презрительно.

Дверь закрыта. Маши уже нет. За черными стеклами медленно поднимается луна. Она движется очень заметно. Она приближается. Я сижу боком к окну, но я хорошо вижу, как она плывет по зимнему ночному небу. Это я хорошо вижу. Бледный круг ее движется наискось через всё окно. Скоро он достигнет верхней планки. Это какой-то световой эффект.

Калашкина, всё шито у тебя белыми нитками. Ты — простофиля, Калашкина. А луна добирается до верхней планки и застывает неподвижно.

Слегка скосив глаза, я вижу это... Я отчетливо вижу сомкнутые ее губы, лоб... Я поворачиваю голову, и луна уносится в мировое пространство. И уже ничего нет, только черное стекло.

— Кто там?!

В коридоре тишина. На дверях Клары Ивановны — замок. Свежий наст у порога хрустит и потрескивает сам по себе.

— Эй!.. Эге-гей!..

Там, в поселке, — свежий наст. Я слышал его сытый скрип. Но нужно еще прожить ночь, чтобы наступило утро. И тогда снова — промерзший класс, и Вера теребит отвороты пиджака красными... Не буду ее вызывать! Пусть тревожится. Буду вызывать других. Потом она подойдет: «Почему вы меня не вызываете?» — «Вера, — скажу я, — ты взрослый человек. Ну сколько же можно в прятки играть?..» Ничего я ей не скажу... Завтра снова — учительская. Там некоторые меня недолюбливают: «Он кичится...» А некоторые равнодушны. А может быть, я не знаю их.

...Я иду с Верой днем мимо домов!.. Учитель чертов!..

— Разговоры всякие идут, — сказал мне вчера Шулейкин. И попытался обнять себя правой рукой, и посмотрел в меня маленькими глазками, и замолк, и притаился, пока я сам не расскажу...

— О чем это вы? — удивленно спросил я.

А рядом сидела Мария Филипповна, поджав губы, в красном пионерском галстуке и тоже ждала, что я скажу, чтобы ринуться с проклятиями...

Я смотрел на Шулейкина, и молчал, и улыбался. Это его всегда очень мучает. Ну же, Шулейкин! Смелей, смелей! Говори! У него даже уши зашевелились, как у гончей, когда она по следу идет. Смелее, Шулейкин... А сам молчу.

— Калашкина заходит к вам часто...

— Мы друзья с Машей.

— А знаете вы, на каком она счету?

— Что?!

— Я хочу предупредить вас, — он очень дружелюбен, — она девочка глупая... Ее засекали неоднократно...

— Как это засекали?

Мария Филипповна засмеялась иронически.

Потом я спросил у Виташи:

— Послушай, что это Шулейкин плетет?

Виташа поплевал на пол:

— Шулейкин спал с ней. Потом скандал был. Потом замяли это дело... Она ему не дает теперь...

— А я-то при чем?

— А ты его класс ведешь теперь... У него все отличники они были... раньше, — он подмигнул мне, — а теперь? У тебя?..

— Какие же они отличники, когда элементарных вещей?..

— Вот то-то и оно-то... — И он засмеялся. — Теперь Шулейкин всем будет доказывать, какой ты плохой.

Скрипит свежий наст. Кончается воскресенье. И нет никакой луны...

КАТАСТРОФА

На пороге класса стоит Виташа. Он — в своем неизменном офицерском кителе. Белые валенки — как ботфорты Петра Великого. А за его спиной покачивается круглое лицо Марии Филипповны.

Класс молчит. Ваня Цыганков смотрит на меня, приоткрыв рот, Саша Абношкин — прищурившись.

— Мы к вам на урок, — говорит Виташа. — Извините...

Ко мне на урок?.. Пожалуйста. Сделайте одолжение. Милости прошу, Виташа. Вы, как-никак, литератор. А вот почему пионервожатая должна контролировать урок литературы — не понимаю...

— Пожалуйста, — говорю я. — Последняя парта пустая. Устраивайтесь, пожалуйста.

— Извините, — говорит Мария Филипповна и закрывает за собой дверь.

— Пожалуйста, — говорю я.

Они на цыпочках, осторожно крадутся к последней парте.

Им нужно доказать, что я плох. Сбываются пророчества Виташи.

Ваня Цыганков смотрит им вслед, приоткрыв рот. Абношкин смотрит на меня прищурившись. Ты злой человек, Абношкин. Ты будешь рад, если у меня что-нибудь не получится. Но ничего... Уж как-нибудь я справлюсь.

— Мы вот здесь будем сидеть, — говорит Виташа. — Вы не обращайтесь на нас внимания.

— Пожалуйста, — говорю я спокойно, даже равнодушно.

Я смотрю в классный журнал. Я вожу пальцем по фамилиям. Теперь главная задача — вызвать таких учеников, которые говорят свободно, без запинки. Они расскажут о Татьяне Лариной, о ее пристрастии к Руссо, о том, как она любит свой народ, и как она вообще незаурядна и прекрасна, и как жалка рядом с ней ее сестра Ольга, пустая и легкомысленная, похожая на нынешних городских девиц, потому что она любит одеваться и развлекаться, и рядом с ней — Татьяна, натура богатая, мягкая, широкая, но решительная в нужный момент, собравшая в себе лучшие черты... Господи, какая скука!

Мария Филипповна застыла напряженно. Виташа приоткрывает один глаз и подмигивает мне незаметно.

Они — комиссия. Комиссии существуют для того, чтобы вскрыть недостатки в работе. Эти двое тоже призваны вскрыть недостатки. Мои. Если бы существовали комиссии по вскрытию достоинств!

Я должен вызвать лучшего ученика. И ты, комиссия, вздрогнешь от удивления и восторга, и ты разведешь руками и будешь везде и всегда говорить во всеуслышание, как хорошо, когда есть полное слияние интеллекта и чувств, методики и материала.

Комиссия — для того, чтобы вскрыть недостатки.

Я должен вызвать лучшего ученика.

Это похоже на игру «кто — кого». Вечная игра. В нее играют взрослые и дети, играют мудрые и легкомысленные... Впрочем, легкомысленные играют в нее редко. Они не умеют заботиться о своем будущем, о своем престиже. А мне надо заботиться, мне надо расти.

У Марии Филипповны щеки горят от возбуждения. Может быть, ей хочется, чтобы я допустил промах? Не потому, что она относится ко мне плохо. Просто трудно уходить с пустыми руками. От волнения у нее белеют губы. Две белые полоски — на красном лице. Ее самолюбие похоже сейчас на раскаленную печь. Пионервожатой с семилетним образованием поручено вскрыть мои недостатки. Это ли не штука?

Я должен вызвать лучшего ученика. И комиссия знает об этом. Она не первый год играет в эту игру. Кому охота самому вскрыть свои недостатки? Смотрите на мои достижения! Не правда ли?..

Вот Коля Зимосадов — серьезный ученик. Сейчас он вам расскажет о Татьяне и цитаты приведет наизусть. Маленький и коренастый, в больших сапогах, он будет смотреть в твои настороженные глаза, комиссия, своими синими глазами, и он приведет тебя в изумление, и ты не сможешь ко мне придаться.

Лучшего ученика ждет и Виташа. Я знаю. Все учителя перед комиссиями вызывают лучших учеников. И все на белом свете поворачиваются друг к другу тем боком, который более совершенен. Может быть, считанные олухи не заботятся о том, как повернуться. Каждому хочется услышать в свой адрес приятное. И споров не хочу, и тяжб не хочу тоже. Не хочу доказывать свою правоту. Кому?! Не хочу подводить философские обоснования под каждый шаг свой. Это, наконец, унижительно.

Комиссия напряглась. Ждет. Тогда я швыряю им Колю Зимосадова. Подавитесь!.. Вы знали, что я вызову именно его. Тем лучше. Вот вы его и слушайте. Он говорит, что Татьяна Ларина — пленительный образ русской женщины... Прав он? Прав Коля Зимосадов? А как он говорит! Это я научил его так говорить. Расскажите об этом всем. Татьяна противопоставлена Онегину, человеку слабому и никчемному... Прав Коля Зимосадов?.. Ага!.. Потом, уже позже, Онегин поймет, как он ошибся, но — дудки... Величественная, как королева, и недоступная, как небо, Татьяна отвергнет его... Поняли? Так было, так есть и так будет... Господи, какая скука!

Коля Зимосадов никогда не ошибается. Он знает учебник почти наизусть и даже то, что напечатано мелким шрифтом. Комиссия, запиши в своем белом блокноте, как прекрасно, как гладко, как без сучка и задоринки, как благополучно протекает...

— Может быть, кто-нибудь хочет добавить? — спрашиваю я, хотя знаю, что добавлять-то нечего.

Но между мною и комиссией медленно поднимается широкая ладонь Абношкина! Она слегка покачивается, как очковая змея, а большой палец, желтый от табака, чуть оттопырен.

— Абношкин? — спрашиваю я.

— Да, — говорит он.

— Ну, говори, — предлагаю я.

Что он может добавить? Еще раз утомительно и трудно будет пересказывать учебник? Или он тоже хочет меня увидеть побежденным?

— Не нравится мне Татьяна, — говорит Абношкин и смотрит на меня прищурившись.

А Маша Калашкина толкает его в бок, смеется громко. И Ваня Цыганков присоединяется к ней. И уже весь класс смеется. И Мария Филипповна смеется, потому что Абношкину, видите ли, не нравится Татьяна Ларина! Пленительный образ русской женщины, самая яркая фигура в галерее образов, созданных великим русским поэтом Пушкиным. Не нравится... Абношкину...

Вера Багреева не смеется. Она смотрит в пол, словно смеются над нею.

А Саша Абношкин стоит, высоко подняв голову, и губы его кривятся и дрожат. Он всегда говорит что-нибудь неожиданное. Мне не следует удивляться. Он всегда петушится, этот паренек. Теперь ему не нравится Татьяна Ларина. Вот он стоит передо мной, и губы у него дрожат, и в глазах — злой огонек...

— Ты что, Абношкин? — спрашиваю я.

— Это он спросонок, — смеется Маша Калашкина.

Но Абношкин на нее не смотрит. Он стоит прямо. Комиссия, ты ждала чуда? Вот оно! Свершилось! Теперь мне следует выгнать этого распоясавшегося громилу из класса? Или позволить ему безнаказанно расправляться с самым дорогим? С привычным?

Абношкин волнуется, он не может говорить дальше.

— Ну же, — говорю я, — продолжай. Значит, Татьяна тебе не нравится? Да? Ну говори... Значит, Пушкин ошибся?

Комиссия смотрит на меня как на сумасшедшего. Мария Филипповна вождельно глотает слюну: надо же — такое делается! А у меня захватывает дыхание. Так бывает, когда летишь с высокой горы на лыжах. И мне не страшно. Мне даже радостно.

— Ну же, Абношкин, — уже прошу я, — договаривай, если начал.

Абношкин встряхивает головой. Вера Багреева что-то шепчет ему, поглядывает в мою сторону.

— А она, — говорит Абношкин, — Онегина вроде любила, а с другим жила...

Сказал...

В классе тишина. А мне слышатся грохот и крики. И мне хочется кричать самому, словно с меня свалился нелепый и давний груз, но я сижу неподвижно и молча. С каменным лицом. Ай да Абношкин! Если бы ты знал, что ты сделал. Если бы ты знал, что происходит со мной.

И вдруг в тишине раздается отчетливый и тонкий смех. Смеется Мария Филипповна. Я смотрю на нее не очень доброжелательно, и она смолкает.

— Всё? — спрашиваю у Абношкина.

— Всё, — говорит он.

Класс молчит настороженно.

И вдруг я вижу, отчетливо вижу, как прямо через класс, размахивая черным зонтиком, скользит по проволоке Мария Филипповна. На ней красная блузка и желтая юбка. А Виташа по полу за ней и нелепо подпрыгивает и взмахивает руками. Его рыжий парик сбился на сторону, вымазанное красками лицо плачет...

— Извините, — говорит Мария Филипповна.

— Пожалуйста, — говорю я.

Я вижу всё это, и мне не страшно. Меня это не удивляет. И наверное, потому я говорю совершенно спокойно:

— Ничего смешного. Каждый имеет право на собственное мнение.

Класс шумно и с облегчением вздыхает. Маша Калашкина торжествующе смотрит на Марию Филипповну. Виташа улыбается и подмигивает мне уже откровенно.

— Что-то есть в том, что ты сказал, Абношкин, — говорю я. — Это даже интересно, то, что ты сказал. Вы подумайте над этим, — говорю я классу. — А тебе я поставлю пятерку, — говорю я Абношкину. — Просто это прекрасно, когда мозги работают по-своему.

И мне даже жаль становится Татьяну Ларину, которой произнесен приговор вот этим пареньком, а мною — подписан.

Мне жаль ее, словно она, живая, стоит передо мною и просит снисхождения, отсрочки. Для нее ведь это так неожиданно! Она привыкла к поклонению. Ну хоть несколько дней, чтобы пересмотреть пережитое.

А Саша Абношкин, как самый неумолимый судья, и бровью не ведет. Он как должное берет эту пятерку из моих рук, как леденцового петушка, купленного на честные деньги... и кладет его за щеку...

Мне очень радостно это видеть.

Теперь мне уже всё равно. Комиссия, я вышел из-под твоей опеки!

— Калашкина, — говорю я, — прошу!

Я вызываю ее к доске, как будто приглашаю к танцу. Она медленно и испуганно идет к моему столу и смотрит на меня с недоумением. Держись, Маша. Кто это выдумал, что нужно вызывать только лучших? Комиссия, ты еще не то увидишь!

Я распоясался.

— Судя по всему, урока-то не было, — говорит Шулейкин. — Так, Мария Филипповна?

— Так, — говорит Мария Филипповна, и губы у нее становятся белыми. — Уж такого я нипочем не ожидала.

— Вы, наверное, плохо к уроку готовитесь? — спрашивает меня Шулейкин.

— Бедный Пушкин, — говорит Мария Филипповна.

Она начинает тоненько хохотать.

— Что с вами? — спрашиваю я резко.

— А грубить не надо, — говорит мне Шулейкин.

Виташа молчит.

Они сидят вокруг меня, как кочевники вокруг костра. Словно они долго мерзли и теперь можно погреться.

— Вы записываете? — спрашивает Шулейкин у Марии Филипповны.

— А как же, Михаил Андреевич, — говорит она, — ну конечно... — и записывает. Ведет протокол.

— А что вы скажете об уроке, Виктор Павлович? — говорит Шулейкин.

— Что я скажу... — говорит Виташа и незаметно по-приятельски мне подмигивает. — Так уроки проводить нельзя, конечно... Всякую чепуху несут учащиеся. Их нужно направлять. А то сегодня им Пушкин не нравится, завтра — Толстой...

— Правильно, — говорит Мария Филипповна. — А еще университет кончили! — говорит она радостно.

— Вы бы лучше на уроки литературы не посылали пионервожатых, — говорю я Шулейкину. — Делу от этого пользы нет.

— Вы так думаете? — улыбается Шулейкин.

— А вы не кичитесь, — говорит мне Мария Филипповна.

— Класс доведен до катастрофы, — говорит Шулейкин.

— Да, — говорит Виташа. — Теперь до конца года и не выправить.

— Кошмар какой-то, — говорит Мария Филипповна.

— Надо в облоно сообщать, — говорит Виташа, — доигрались.

И он тоже!..

Я встаю:

— Теперь мне остается сдать дела, наверное?

Как я могу объяснить им всё? Всё, что произошло? Всё, что произошло с мной и с ребятами? Что-то рухнуло, упало. Пыль и обломки. А поднять-то и некому.

— Это уже трусость, — говорит Шулейкин. — Надо не бежать, а бороться. Исправлять положение.

— Лучше мне уехать. Это не моя стихия — учительство. Я желаю вам всего лучшего. Я не сержусь на васнисколько. Просто мне показалось, что что-то мы делаем не так... Ничего я исправить не смогу, — говорю я.

— Нет таких крепостей, — говорит Виташа и смеется, поглядывая на Шулейкина.

— Не буду я ничего исправлять, потому что я ничего не портил.

Не может все-таки быть так, чтобы я был прав, а все не правы.

— Не можете — научим, не хотите — заставим, — смеется Шулейкин.

— Это вы серьезно?

— Что вы, что вы, — говорит он, уже не улыбаясь, — это же армейская поговорка.

...Виташа догоняет меня на улице:

— Абношкин-то, а? Мария Филипповна чуть не подавилась.

— А ты? — спрашиваю я.

— А что я? — говорит Виташа. — Что мне с Шулейкиным спорить? Это ведь ничего не даст. Он за свое место держится будь здоров! Он спец других давить.

Большие валенки Виташи похожи на заношенные ботфорты Петра Великого.

ПОТАСОВКА

Ночь.

Грипп, который душит меня, невысок и вкрадчив. Он весь в белом. Только кончики пальцев черны. И глаза у него горят неясным, тусклым пламенем.

Слышали ли вы рассказы о гриппозной иголке? Что-то кружится перед глазами, мягкое и ускользящее; кружится то медленно, то неистово; то становится почти микроскопическим, готовым вонзиться; то разрастается невероятно; и всё время слышится звук, похожий чем-то на непрерывный злорадный хохоток, на вой ветра, на пение пчелы. Почему это названо иголкой, не знаю. Но в детстве я кричал сквозь бред: «Иголка!.. Иголка!..» — и старался укрыться от нее, и никто из взрослых не мог меня понять.

— Иголка!..

Ни на фронте, ни в госпитале она не возникала передо мной. А вот сейчас закружилась снова.

Я слышу ее почти забытый голосок и опять, как тогда, не могу ее разглядеть.

И вдруг из облачка, которым она окружена, проявляется лицо Шулейкина. Он смотрит на меня маленькими глазками.

— Здорово вас прихватило, — говорит он.

— Здорово, — говорю я. Шепчу. — Иголка, — говорю я.

— Давайте я вам полотенце на лоб мокрое... — говорит он.

— А-а-а, — говорю я, — полотенце на лоб?.. А потом пальцами за горло?..

Опять визжит иголка и устремляется в меня. Распухает, распухает... Холодное, мокрое ложится на лоб... И из этого вылезает Шулейкин. Он отряхивается от воды. Он пытается обнять себя правой рукой. Как это смешно...

— Зачем вы это делаете?.. Что это должно обозначать?

— Мокрое — это хорошо, — говорит он.

Я ведь не о том его спрашиваю.

Жужжит иголка, похожая на веретено.

— Сильно вы простудились, — говорит Шулейкин. — Надо одеваться потеплее...

— Все вы жулики, поддельватели оценок, — говорю я.

— Беречься надо, — говорит он. — У нас ведь врача не дозовешься...

— Вы меня подлогам учите?.. — спрашиваю я.

— Тут с врачами туго, — говорит он. — Это не Москва.

— А мы ведь налоги платим, — говорю я.

— Ну ладно, ладно, — говорит он, — при чем тут налоги?

— У нас ведь бесплатная медицинская помощь! — говорю я.

— Тсс, — говорит он.

— Вот я умираю, — говорю я, — и никому я не нужен. Разве это справедливо?

— От этого не умирают, — смеется он. Он смеется всё громче, всё громче, и смех его сливается с воем иголки, она уже совсем рядом... Сейчас!..

Я просыпаюсь.

Ночь.

Шулейкин ходит по келье. Он весь черный. Он ходит вкрадчиво, тихо, словно и не касается пола. Он что-то переставляет с места на место. Мне страшно и смешно.

— А вы откуда взялись?

— Спите, спите, — говорит он и спрашивает сам себя: — Разгорелся примус? — И сам себе отвечает женским голосом: — Еле разожгла черта!..

Я смеюсь. Он думает, что я сплю, и сам с собой разговаривает так странно.

Иголки нет. Прекрасно!.. Тишина.

— Клюквы хочется, — говорю я.

— А чтобы мама ладонь на лоб положила, не хочется? — спрашивает он.

— Хочется...

Он добр невыносимо!.. Мучил меня, мучил, а теперь добр.

— Да, в Москве всё это удобнее, — говорит он, — паровое отопление, телефон... Мне иногда хочется всё это бросить к черту — и туда. Серо мы живем...

— А здесь кто останется? — спрашиваю я.

— А гори оно всё! — говорит он и машет черной рукой. И снова, словно из-под подушки, выныривает иголка, и истошно орет, и, приплясывая, движется на меня.

— Иголка!..

Шулейкин наклоняется надо мной и клювом ударяет меня в лоб.

— Пошел прочь! — кричу я и просыпаюсь.

Ночь.

Шулейкин сидит над книгой, скрючившись.

— Зачем вы пришли?

— Вас нельзя одного оставлять... То да сё... Я тут почитаю...

— Почитаю... почитаю... — говорю я. — Почитай отца с матерью... — я смеюсь. — Вы ведь директор все-таки. Поручили бы уборщице не спать всю ночь.

— Да бросьте вы, ей-богу, директор... директор... Я — Мишка из-под сохи. Сегодня директор, а завтра — говновоз... А вам уже полегче стало... Это я вам две таблетки аспирина запихнул. Великое средство.

— А от геморроя оно помогает? — смеюсь я.

— Хорошо бы еще лимончик съесть, — говорит он.

— А вам в любви везет? — спрашиваю я.

— Одну любил, да она меня не любила, — говорит он.

— Только одну?

— Говорила, что дурак я, деревенщина... Вот так...

— Ну дальше, — говорю я. — Люблю трагедии.

— Какие там трагедии, — смеется он. — В жизни все проще, смешнее.

— Она красивая была?

— Казалась красивой... И вот она меня отвергла... За то, что я — серый деревенский кобелек... А она — городская интеллигентка, с образованием, через день в филармонии бывает...

— Ну, это еще не образование, — говорю я.

— ...Да еще от меня казармой пахнет. Я тогда только что с фронта демобилизовался...

Теплый воздух в келье то сжимается, то разжимается, и, наверное, потому Шулейкин, как лодка, то проваливается куда-то, то взлетает... Смотреть больно. Я закрываю глаза.

— ...Она надо мной посмеивается. «Хорошо, — говорю я, — я тебе покажу...» А у меня — восемь классов образования. Нос брюквой.

Он замолкает.

— Я не сплю, — говорю я. — Просто у меня глаза устали.

— ...Тогда кругом голодно было. А у матушки моей — картофель. Я грузу его на подводу и — в Тулу. И — в институт педагогический. За аттестат зрелости на барахолке мешок отдаю. Два мешка — профессору привожу на дом. Он краснеет весь. Кричит на меня: «Это что, взятка? Взятка, да?!» А сам слюну глотает... «Да не взятка, — говорю я, — какая взятка? Вон у вас дети голодные, да и сами вы...» Одним словом, взял он картошку и заплакал... Вот так. После экзамен у меня принял.. Куда ж ему деваться? И поступил я в институт.

— Эээ, — говорю я, — вот вы как всех облапошили.

— Это для начала, — говорит он, — потом всё своим горбом брал. Диплом в кармане. Возвращаюсь. А здесь — три учителя и два ученика. Да и учителя-то все липовые, без дипломов. Назначают меня директором. А я люблю рыбу ловить... Но я помню эту гражданку. И соглашаюсь быть директором.

— Интересно! — говорю я.

— Начинаю командовать. Мне смешно: я — Мишка из-под сохи — за картошку аттестат купил. Директором стал! Дают мне оклад. Покупаю я драповое пальто. Иду к ней... к той самой...

— Ааа, — говорю я, — интересно.

— Ничего интересного: дура душой...

— И ничего? — спрашиваю я.

— Что — ничего? Ну, переспал я с ней... раз, другой... Ничего... Так вот и ничего. Смешно и скучно. И удрал обратно. Чуть было пальто драповое не оставил... Работаю. Привожу первые сведения по успеваемости в район. Одни двойки... Они — на меня! Угрозы... Я думаю, зачем мне это? Выгонят... Теперь снова за картошку не купишь, не то время... Собираю своих инвалидов и говорю им, что за двойки не с учеников, а с них спрашивать буду... Ну куда им деваться?.. Они ставят тройки... Им-то что? Всё идет прекрасно.

— А женщина та?

— А черт ее знает. Я ее не встречал больше.

— А мать Веры Багреевой?

Он сверлит меня своими маленькими глазками.

— Сплетни это, — говорит он.

— Говорят, что вы эту школу создали, — говорю я.

— Говорят, — смеется он.

— Это что, враки? — спрашиваю я.

— Может быть, и не враки, — смеется он.

Он куда-то вдруг проваливается. Потолок бесшумно обрушивается и заслоняет от меня всё.

И я просыпаюсь.

Ночь. Лампа еще светит. Шулейкин читает книгу. Нос его выступает из темноты розовым таким уголком.

— Мне сны снятся или это явь? — спрашиваю я.

— Сны, — говорит он. — Это бывает при гриппе... Реальные картины.

— Вы мне свою жизнь рассказывали, — говорю я.

— Теперь такой грипп свирепствует, азиатский, — говорит он.

— Значит, мать Веры Багреевой — это сплетни? — спрашиваю я.

Он кивает и смотрит на меня внимательно.

— Здесь сплетни любят, — говорю я.

— Конечно, место маленькое. Все на виду.

— И в учительской что ни скажи — сразу везде известно.

Он смеется, потом говорит:

— Анекдот вспомнил. Один жалуется. Безобразие, говорит, вчера одному человеку сказал: так твою мать, а сегодня уже весь город повторяет!..

Он смеется. Действительно смешно. Так твою мать — и весь город повторяет.

— Вы еще молоды, — вдруг говорит он. — В учительской не нужно особенно откровенничать. Люди ведь разные бывают...

— А что мне люди?

— Так, на всякий случай.

— Да плевал я на всё.

— Вы ведь говорили, что в нашем просвещении сплошные подлоги?

— Ну и говорил. Плевать мне...

— И что колхоз в Васильевке развалился?

— А что? — спрашиваю я. — Разве не так? Ну и что?

— Ничего, — говорит он.

— А, наплевать, — говорю я.

— Надо поосторожнее, — говорит он.

— А я ничего не говорил! — кричу я. — Не говорил...

И просыпаюсь. Утро. В келье никого нет. Солнце заглядывает в окно. Как хорошо, что весна наконец! И грипп меня оставил. Только слабость — руки не поднять.

Вдруг Вера Багреева зайдет навестить. А может быть, приснилось... А может быть, и не приснилось...

КАРТОШКА

— Конечно, — говорит Маракушев, — без картошки мне нельзя. У меня четверо... Гы-гы... — И говорит Шулейкину благодушно: — Вот этот участочек мне подходит...

— Видите, как хорошо, — улыбается Шулейкин. — А в прошлом году вы все кричали...

— Гы-гы.. — говорит Маракушев, — чего вспоминать...

— А вы помните, как в прошлом году кричали? — говорит Шулейкин.

— Ну чего вспоминать, — говорит Маракушев. Шулейкин на плане участков делает пометки карандашом. Клара Ивановна записывает в блокноте.

— Мне бы вот этот участочек, — кто-то из учителей тычет пальцем в план.

— Вам ведь уже выделили, — говорит Мария Филипповна, и губы ее белеют.

— А мне бы вот этот, не этот, а вот этот...

— А у меня самый худший в прошлом году был, — смеется Виташа, — вот уж теперь я разговееюсь!

— А вам, Виктор Павлович, — говорит Шулейкин, — остается прошлогодний.

Картошка бессловесна? Это предрассудок. Виташа кричит. А перед моими глазами возникает желтоватое тело картофелины. Она таращит свой глазок. Кожура лохмотьями колышется на ее теле...

— Тише, — говорит Клара Ивановна и кивает на дверь учительской. — Там ведь учащиеся. Тише.

— Что тише? — говорит ей кто-то из учителей. — Себе лучший кусок забрали, а теперь — тише...

— Да с какой стати я опять ту же самую дрянь брать должен?! — кричит Виташа.

Он стоит у стола. Его растоптанные латаные валенки отбивают какой-то незнакомый танец.

— У меня тоже, разве это участок? — говорит Мария Филипповна словно сама себе. — Две березы посредине. Самый что ни на есть плохой участок...

— Давайте поменяемся, — говорит кто-то.

— А где у вас?

— У пруда...

— Ишь вы какой, — говорит Мария Филипповна. — Деловой какой!..

Шулейкин сидит, наклонив голову. Он делает вид, что углубился в план. У Клары Ивановны испуганное лицо. Растерянная улыбочка дрожит на губах.

— Тише, — просит она, — ну как вам не стыдно!

Желтая картофелина отскакивает от одного к другому. С нее срывают последнюю одежду. Она размахивает руками, пытаясь отбиться.

— Дверь, — говорит Шулейкин. — Закройте же дверь!..

А меня это не касается. Меня это не касается... А картофелина (еще сырая, еще не родившаяся даже) кричит душераздирающе.

— Перестаньте кричать, — морщится Шулейкин.

— Да перестаньте же, — почти плачет Клара Ивановна.

— Вы же учитель, — говорит Шулейкин.

— А чего же вы несправедливости...

— Что?

— Несправедливую...

— Что?

— Да дайте договорить! — кричит Виташа.

— Ну договаривайте, — мягко говорит Шулейкин, — ну договаривайте, пожалуйста...

— Ну? — говорит Клара Ивановна.

— Да брось ты, — говорю я Виташе. — Из-за картошки какой-то...

— Как не стыдно, — говорит Маракушев.

— Ты-то уж молчал бы, — говорит ему Виташа. — Мне бы твой участок...

— Гы-гы, — говорит Маракушев и уходит из учительской.

— Не умеют себя вести, — говорит Мария Филипповна и уходит следом.

И все расходятся постепенно. Только Виташа остается и я.

— Ну ладно, — говорит Виташа, — я ему припомню. Я о нем кое-что знаю... Ну ладно...

А в дверь учительской заглядывает Саша Абношкин.
— А тебе-то еще чего? — поворачивается к нему Виташа.
— А я не к вам, — говорит Саша.

И это как плевок. А мне хочется рассмеяться.
— Ты давно здесь стоишь? — спрашиваю Абношкина.
— Нет, — говорит он и краснеет.

И иду к нему туда, в коридор. Я ухожу совсем далеко. Но всё маячит перед моими глазами распростертая картофелина в изодранной коже...

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ

Нас подобралась прелестная компания: председатель колхоза Абношкин, Шулейкин, Виташа, Мария Филипповна и я...

Мы идем на заём подписывать!.. Был я студентом, был я черт знает чем... Теперь включили меня в комиссию.

— Как это — чего тебе делать? — говорит председатель Абношкин. — Мы, стало быть, идем по избам... Все... Ну, стало быть, заходим...

— Да что он, не знает, как на заём подписывать? — говорит Виташа.

— Надо научить человека, — мягко говорит Шулейкин.

— Вы знаете, — говорит Мария Филипповна, — это очень просто. Значит, так...

— Да бросьте вы, ей-богу! — смеется Виташа. — Он вас разыгрывает, а вы...

— Я не разыгрываю, — говорю я.

— Послушай, — говорит Абношкин, — пойдешь — всё увидишь, как и чего. Надо, главное, чтобы все побольше подписали.

— Ну, у нас все сознательные, — говорит Мария Филипповна белыми губами.

Шулейкин подбородок теревит. Виташа на дорогу сплевывает.

— А может быть так, что не захочет кто-нибудь? — спрашиваю я.

— Ну что вы, — говорит Мария Филипповна, — мы же не себе собираем...

— Ну а если?

— Вот, ей-богу, сколько вопросов! — смеется Виташа. — Ты-то сам подписался?

— Люди ведь понимают, на что они деньги дают, — мягко говорит Шулейкин.

А впереди — Васильевка. Чернеют ее избы... Сейчас мы перебираемся через овраг, потом узкой тропинкой между двумя усадьбами — и улица... Я член комиссии. Мне, наверное, придется молчать. Мне, наверное, придется молчать, потому что ну что я скажу? Они это делают не впервые... Хорошо, я буду молчать. Я погляжу на них, как они это делают.

Нюра Осипова открывает нам дверь, а сама уходит в избу. Даже не здоровается. И мы молча идем за ней. У нее там ребенок по полу ползает. Маленький мальчик в ситцевой рубашке. Красный ситец с белыми рыбками.

— Ах ты, маленький, — говорит Мария Филипповна, — иди-ка сюда, иди-ка...

— Он ходить не может, — говорит от печки Нюра.

— Что ж это ты, молодой человек? — спрашивает Шулейкин. Он пальцем щекочет мальчика за ухом. Мальчику смешно. Он смеется беззубым ртом. Тянется к Шулейкину. И белые рыбки начинают плескаться в красном море...

— Ну вот, Нюра... — говорит Абношкин.

— Чего — ну вот? — говорит Нюра. — Мне давать нечего. Вот сам вернется, тогда... А мне нечего.

— А где он? — спрашивает Виташа.

— В город поехал... За сахаром, — говорит Нюра. А сама не отходит от печки. Тулупчик на плечах. Босые ноги в валенках.

— Ее муж, — говорит мне Шулейкин, — столяр. Первоклассный.

— Ты вот что, Нюра, — говорит Абношкин, тяжело дыша, — ты сама... Его ждать нам некогда. Хозяйка-то ты ведь?

— И чего вы с самого утра навалились?! — говорит Нюра. А лицо у нее молодое, некрасивое. Очень широкие скулы.

— Как вам не стыдно! — говорю я. — Мы все подписываемся. Мы же не себе это. Это для всех. Для всего народа.

— Стыдить ее не надо, — говорит Абношкин. — Она сама про всё это знает.

— Нюра — человек сознательный, — бодро улыбается Мария Филипповна. Но губы у нее белеют.

Нюра берет мальчика на руки.

— Меня стыдить нечего, — говорит она. — Сами б постыдились!

— Ты, Нюра, подпишись, — говорит Абношкин, тяжело дыша, — вот здесь...

Нюра смотрит в ведомость. Мальчик смотрит на меня. Шулейкин смотрит на Нюру, и Мария Филипповна смотрит на Нюру, и Виташа...

— Нет, — говорит Нюра, — пятьдесят не подпишу. На тридцать подпишу, а на пятьдесят — нет.

— Ты, Нюрочка, давай, давай, — подмигивает ей Мария Филипповна.

— Нет, — говорит Нюра, — на тридцать подпишу...

А мальчик вертится у нее на руках, и белые рыбки плывут куда-то за спину... Мы выходим на улицу.

— Вот кулачка-то!.. — говорю я.

— Какая же она кулачка? — говорит Виташа.

— Пять человек ее уговаривают, а она...

— Когда жрать нечего, не пощедришься, — говорит он шепотом. И оглядывается на остальных. Но остальные не слышат. — У них колхоз с войны всё не оправится...

Мы идем по Васильевке. От дома к дому. Абношкина совсем одышка замучила. Он идет всё медленнее. Все молчат. Не очень это веселое дело — ходить вот так по дворам.

— Словно побираемся, — говорю я Виташе.

— Тшшш... — Он оглядывается. — Ты что, ополоумел?

Мы поднимаемся на крыльцо. И тотчас дверь распахивается.

— Здорово, Настасья, — сопит Абношкин.

— Здорово, старый черт, — говорит Настасья и ведет нас в избу. — Всё ходишь? Всё в карманы глядишь?

— Да что вы, Настасья Иванна, — говорит Мария Филипповна, — не надо его обижать.

— Ты бы уж помолчала, пионерка брюхатая! — говорит ей Настасья.

Она стоит перед нами, маленькая, смуглая, давно уже не молодая. Руки на груди сложены... Мария Филипповна стоит красная вся. Действительно живот уже заметно выпирает из-под пальто. И красный пионерский галстук выбился на воротник...

— Умора, — шепчет мне Виташа, — пионерка беременная...

— Ты, стало быть, Настасья, знаешь, зачем мы к тебе? — говорит Абношкин.

— Уж мне ли не знать, — говорит Настасья. — Первый раз, что ли, ты ко мне, старый черт, приходишь? Партизан...

Абношкин садится к столу. Расправляет ведомость.

— Ну что я тебе платить буду? — говорит Настасья. — Ты подумал?

— Надо, Настя. Подпишись, и всё тут.

— А в сорок первом, когда я тебя, раненого, прятала, ты в глаза смотрел, — говорит Настасья, — а теперь-то не глядишь...

— Ну ладно, ладно, — бормочет Абношкин.

— Стыдно тебе, да?

— Ты подписывай, — говорит Абношкин, и толстое его лицо словно плачет.

Она подписывает, не глядя на лист.

...Мы прошли уже по двадцати избам. Скоро и конец. Я иду по Васильевке, а лица, лица, лица мелькают передо мной... и пальцы, которые коряво держат ручки, и желтая помятая ведомость, по которой эти ручки бегут неохотно.

Мы стоим на крыльце предпоследнего дома. Это маленький дом. В два окна.

— Вот сейчас будет, — говорит Виташа.

— Чего вы смеетесь, Виктор Павлович? — горько говорит Шулейкин.

— Ничего, мы старую уломаем, — говорит Мария Филипповна.

А Абношкин тяжело дышит, со свистом, и молчит. И я молчу.

Потом открывается дверь, и уже в избе я замечаю хозяйку. Она как грибок маленький, сморщенный.

А у окна стоит мой ученик — Ваня Цыганков. Толстые губы его отвисли. Рыжие вихры разлетаются в разные стороны. Он покачивается на длинных своих ногах, как на ходулях.

— В гости пришел, Ваня? — спрашиваю я.

— А не, — говорит он.

— По делу?

— Я живу здесь, — говорит он.

— Он с бабкой живет, — говорит мне Виташа, — это бабушка его.

А бабушка подходит ко мне.

— Вы, деточка, учитель Ванин? — говорит она. — Он всё про вас рассказывает, любит он вас... — Потом она поворачивается к Шулейкину: — И директора он любит... Всё старается, старается угодить... Ваня-то... Он сирота ведь...

— Тимофеевна, — говорит Абношкин трудно, — на-ка вот, подпишись.

— Что, что ты, деточка, — говорит бабка, — я ж неграмотная.

— Всякий год подписываешься, а тут неграмотная? — говорит Абношкин и пальцем по столу постукивает.

— Вы подпишитесь, Анисья Тимофеевна, — говорит Мария Филипповна, — не первый уж раз.

— Да что ты, деточка!.. — торопится бабка. — Из чего подписывать-то? Мне ведь сироту кормить! Что ты, миленькая...

Врет?.. Притворяется?.. Что это происходит?..

— Какой позор, — говорю я Виташе.

— Тшшшш... Ты потише, — говорит он и оглядывается. Но все заняты бабкой.

И тут вдруг срывается со своего места Ваня Цыганков, натягивает на ходу шапку и бежит к двери.

— Они все по домам сидят... Не работают, что ли? Что это у них ничего нет? Что это за колхоз такой?.. Или врут они все?..

— Тшшшш...

— Ну яички дам... — говорит бабка, — а денег нечто я наберу?..

— Давай, ладно, — говорит Абношкин, — по тридцать в месяц...

— Да что, деточка!..

— Анисья Тимофеевна, ведь на эти деньги, — мягко говорит Шулейкин, — мы заводов настроим, больниц...

Я вспоминаю: она приходила ко мне в келью несколько раз. Я у нее яйца покупал. Она приносила их в лукошке и синими сморщенными пальчиками отсчитывала их. Я помню.

А в классе спрашиваю у Вани Цыганкова:

— Что это ты в резиновых сапогах ходишь? Холодно ведь.

— А он закаляется, — посмеивается Абношкин-сын.

Вот тебе и закаляется...

— Я ведь, деточка, яички продам... Мы с Ваней и проживем... Разве могу я больше-то вам отдать?.. — говорит бабка и подписывает ведомость.

Теперь дом Веры Багреевой.

Но тут всё происходит очень просто. Мы подходим к крыльцу. А на крыльце уже стоит прекрасная, как богиня, мать Веры.

— Давайте сюда, — говорит она цыганским голосом и протягивает руку Абношкину. Он дает ей ведомость. Она подписывает ее быстро, размашисто. Возвращает ему.

— Спасибо, — сопит Абношкин.

— Может, вы нас все-таки в дом пригласите? — спрашивает Шулейкин.

— Как ваши детишки поживают? — спрашивает Мария Филипповна белыми губами.

— А зачем в дом? — спрашивает мать Веры так, что хочется уйти поскорее.

Остается последний дом. Он на самом краю. Мы подходим к крыльцу и останавливаемся. На крыльце стоит молодая женщина с ребенком на руках. Рядом с ней — две белобрысые девочки. А чуть впереди — молодой мужчина в гимнастерке, и в руке у него топор, словно он дрова поколоть собрался.

— Здравствуйте, друзья, — говорит Мария Филипповна.

Они молчат.

— Эх, беда мне с вами, — хрипит Абношкин. — Ну чего ты, Коля? Чего? Впервой, что ли? — А сам глаза отводит.

— А что, председатель, — говорит Коля спокойно, — я сейчас вот их всех порешу, — и показывает на свою семью, — а посла за вас примусь...

— Хулиганство какое, — шепчет Мария Филипповна.

— Партизанский сын, — подобострастно смеется Виташа.

— Вот он весь как есть, — говорит Коля.

— Ну ладно, Николай, — говорит Абношкин, — выходит, мы с тобой после поговорим.

Другие вон все подписались...

Мы уходим в поселок.

— Ладно, — хрипит Абношкин, — идите, схожу коровник посмотрю.

— Почему это одни женщины в избах? — спрашиваю я Виташу.

— Или войны не было? — спрашивает меня Абношкин.

Мы идем молча.

Вдруг что-то похожее на резкий трамвайный звонок прокатывается над Васильевкой... Когда мне исполнилось пять лет, я сел в трамвай, проехал одну остановку по Арбату и очутился на Смоленской площади. Я вышел в незнакомом мире. Было страшно. Мой трамвай, гремя и позванивая, ушел куда-то в небытие. И уже другие вагоны сновали вокруг так, что дух захватывало... Я вскарабкался в обратный вагон и вернулся к дому. И так я стал поступать ежедневно и знал уже все дома на Арбате между Смоленской площадью и Плотниковым переулком. И была весна, солнце, радость путешествия... А красный трамвай был моим личным экипажем, моим кораблем, моим танком, поездом дальнего следования. И я трясся в нем, прижатый пассажирами к дальней стене площадки, и пытался пошевелиться, но не мог и не вышел на Смоленской площади, а трамвай ринулся дальше... Куда-то... Все кончилось. Я не плакал. Я сошел на следующей остановке. Вокруг простирался незнакомый мир. Он назывался Плющиха. Куда я попал?.. И я заплакал. Ах как страшно было потеряться! Я не верил в спасение. Но оказалось, что даже отсюда трамваи возвращаются обратно. И я втиснулся в вагон, и он понес меня со звоном, с громом и молниями мимо домов и прохожих и высадил возле самого моего дома! Я стоял оглушенный, а он умчался дальше — спасти кого-то другого. И другие красные трамваи, добрые и надежные, бежали мимо меня. И я понял, что они не могут погубить, что они всегда вернут тебя к твоему дому...

Вечером собираемся в учительской. Приехал инструктор из района. У него усталое, небритое лицо туберкулезника.

— Ну как у вас? — спрашивает он у Шулейкина.

— У нас очень хорошо, — говорит Мария Филипповна, — все как один... Все ведь понимают, не первый год...

— В прошлом году сумма-то больше была, — говорит инструктор, поглядывая в ведомость.

— Трудно, — говорит Шулейкин, поглядывая в окно.

— Там ведь ни одного почти мужчины нет, — говорю я, — неужели никто об этом не думает?..

Виташа толкает меня в бок.

— Мы знаем об этом, — говорит инструктор.

— Пошли бы сами, посмотрели бы, что там творится... — говорю я, — позор просто...

— Вы напрасно горячитесь, — говорит мне Мария Филипповна, и губы ее белеют, — товарищ инструктор не мог ведь... Он доложит кому следует...

ВСЁ, ЧТО ВОКРУГ...

— Вот так мы и живем, — говорит председатель Абношкин, тяжело дыша. — Садитесь. Ну хоть сюда вот... — Он усаживает меня на красный облупленный табурет. — Сашки дома нету... — Он говорит с трудом. В груди у него хрипит что-то. — Поговорим... Ты ведь поговорить пришел?

— Поговорить.

— Ну и ладно, поговорим. Может, выпьешь?.. Ну не надо...

— А у вас всё заботы?

— Заботы, они всегда, — хрипит он. — Без забот разве жизнь бывает? Это и хорошо, что заботы. Вот только до сына рук не дотяну... Плох он, наверное?

— Саша ваш? Нет, он хорошо учится. Он такой самостоятельный.

— Ишь ты... Строптив?

— Бывает, что и строптив... Разве это плохо?

— Ишь ты, — посмеивается он. — Разве хорошо? — И, помолчав: — Попробовал ты крестьянской работы? Ну, как она?

На его мясистом, красном лице — хитроватая улыбочка. Он думает — я сейчас плакаться начну. Сейчас он будет говорить, что не посеешь — не пожнешь, что городу без деревни не прожить. «Хлеб!» — скажет он многозначительно.

— Скучища у нас, а? — говорит он.

— Это есть.

— Ты бы организовал чего-нибудь, учитель.

— А Шулейкин?

— А чего Шулейкин? Мишка на директорстве своем запутался. Все ведь смеются. Он человек темный. Дела своего не знает.

— А вот вы сельское хозяйство знаете?

— Я знаю, — хрипит он. — Давай по маленькой? Нет? Ишь ты...

— Что же колхоз ваш скрипит?

Он тяжело дышит и смотрит в окно. Там быстро сумерки густеют. От печки тянет кислым чем-то. Я смотрю ему в глаза. Они громадны и печальны.

Он садится напротив. Подпирает голову широкой ладонью. И молчит.

Он симпатичен мне, этот человек. И убогая его изба не кажется мне убогой. Это ведь прекрасно, когда человек задумывается, пусть даже печально. Тогда его лицо словно освещается, и ты видишь, как оно удивительно со всем, что на нем имеется.

— Понимаешь, парень, — хрипит Абношкин, — я бы тебе сказал, как оно всё получается... Да откуда я знаю, кто ты есть? Поймешь ли?

— Я пойму.

Он вертит косматой головой с сомнением:

— Хочешь понять, да не поймешь... Не поймешь.

— Пойму. Что я, идиот, что ли?

— Я сам всего понять не могу... Думаю. По ночам проснусь — а вот здесь схватывает, — он тычет толстым пальцем в темя, — и никуда не денешься... Мокрую тряпочку прикладываю. Говорят, помогает... — Он смеется невесело. — Так это ж голова... На заботы мокрой тряпочки не положишь ведь, а?

Потом он зажигает лампу. И она стоит, как часовой, на самом краешке стола, вытянув свою длинную шею. И большая тень Абношкина медленно шевелится на стене, и хрипит, и стонет. И изба становится похожей на учительскую: там тоже одинокая лампа по вечерам замирает на краю стола.

— Могу тебе ответить, как положено, — хрипит он, — мол, была война... Вот и трудно...

— Это я и без вас знаю.

Он тяжело смеется:

— Это-то ты знаешь, а чего дальше — не знаешь.

— Вот и пришел, чтобы узнать. Ребята ведь спрашивают.

— Нет, этого тебе не понять. Это надо жизнь прожить.

— Живу...

— И живи. Ты человек хороший. Ребята тебя уважают... — И опять после паузы: — А у меня домашняя есть... Высший сорт... А?

— За что же они уважают, когда я ничего сказать не могу?

— Да это они без тебя разберутся. Ты их произведениям всяким учи, стихам, в город их в театр свози... Ну что, по маленькой?.. Несговорчивый ты какой...

Он мне очень симпатичен, этот Абношкин. Как это раньше я мимо проходил? Почему не бывал в этой избе, не сидел на этом красном табурете?

— Гости идут, — хрипит он. — Теперь не миновать разговеться.

Кто-то скрипит дверью, идет через сени.

— Да, — говорит Абношкин, — заходи... Я думал, мужик идет...

Мать Веры, слегка кивнув мне, подплывает к столу.

— Ваших нету, председатель? — низким голосом, по-цыгански спрашивает она. — Нету, да? Жаль. Хотела кое-чего из посуды взять. — Голос ее становится вкрадчивее и тише: — Кажется, Верку сватать приехали. Не пойму что-то... — Она смотрит на меня пристально. Глаза у нее такие же, как у дочери. Только Вера смотрит вниз... Да, вниз...

— Событие, — говорю я спокойно.

— Дождалась, — как-то слишком громко говорит Абношкин. — А Верка-то нарядилась?

— Нарядилась, нарядилась, — смеется мать и смотрит на меня.

— А Шулейкин, дружок твой, пришел?

— Пришел, пришел, а как же, — говорит мать. — Может, и ты зайдешь поглядишь. Да у тебя самого гости.

— Ты бери из посуды сама чего, — говорит Абношкин. — У меня гость.

— А вы идите, — говорю я. — А я по своим делам пойду.

— Посидим, посидим, — хрипит он, — и без нас справятся...

Всё происходит мгновенно: тарелки гремят, дверь хлопает... Событие! Разве меня это касается?.. Но почему кто-то другой?.. Да разве меня это касается?.. Я же не влюблен... Ах, просто странно: почему кто-то другой!.. Да разве меня это касается?.. Надо мною же смеяться будут там, в Москве... А может, пойти туда и спокойно, как Печорин: «Вера, я пришел за тобой...»

— Что-то она темнит, — хрипит Абношкин, — какие еще сваты? Она женщина железная. На порог-то пускает не каждого. Того и гляди, ухватом сработает. Темнит... И слуху такого раньше не было.

...И вот я говорю это. В комнате молчание. Гости смотрят на меня с ужасом. Мать Веры с грохотом отодвигает стул и выходит из комнаты прочь. А Вера вдруг, такая тоненькая, в черном

платье с широким вырезом, и высокая, зажмурившись, словно слепая шаря руками, идет в мою сторону. Плавно идет, едва касаясь пола носками туфель.

— Нет! — кричит главный сват.

Но она идет, идет. Я кладу ей на плечо руку.

— Что же это такое?! — кричат гости.

— Пойдем отсюда, — говорит она сухими губами. И плечо ее горячее...

— Ты всё обдумала, Вера?

Она уводит меня из избы. И там, на улице, обняв меня, прижавшись всем телом, с благодарностью:

— Хочешь, я тебе правду скажу?

— Ну...

— Я знала, что ты придешь... Хотя и говорили все, что не ровня я тебе, чтоб не ждала...

— Чепуха это, не ровня!..

...Никто меня не ждет. Может быть, ее уже сосватали?.. Да разве меня это касается?.. Может быть, она и правда ждет меня?.. Никто меня не ждет... Всё идет своим чередом. Спокойно. Ничего непредвиденного не произойдет. Я буду ночевать в своей келье как миленький... Да...

— Темнит она что-то, — хрипит Абношкин, — ну да, темнит... — он вдруг тяжело встает, и лампа начинает покачиваться. — Верка-то с моими в Козельск на базар поехала!.. Ах ты, паралик тебя расшиби! Я ж говорю, темнит.

— А отца у нее нету, — слишком радостно говорю я.

Он садится на свое место. Долго молчит. С трудом дышит. Большая его грудь с клокотанием вздымается и оседает.

— Отец ее до войны в райкоме работал. Вредителем оказался... Видишь как...

— А Шулейкин, значит, тут как тут?

— Он от нее не отступился. Вот как. Не отступился. Понимаешь, как оно... Помогает ей.

Верке — тоже. В войну помогал...

— А говорят, он...

— Да это все говорят! — хрипит он яростно.

Он снова встает и начинает тяжело, как медведь, ходить по избе:

— Тяжело мне, черт! Будто воды в меня налили.

Неладное с ним что-то.

— Ты видал осенью, какие луга у нас? — вдруг спрашивает он. — Видал, травки сколько?

— Видал, — говорю я.

— Ага... А скот с голоду ложится... Ну?

— Ну?..

— А к Семеновым нынче зашел, а ребята кисель картофельный хлебают. Из крахмала.

А я зашел и говорю: давайте, отец и мать, на работу. Что это вы, мол, расселись, а?

— Да?

— А с Васькой Семеновым мы вот здесь в партизанах ходили. Вот на этом самом месте...

И по Смоленщине...

— А вы бы плюнули на это... Поехали бы полечились.

— Ишь ты, — хрипит он. — Это ты можешь плюнуть, а мне нельзя. Это же мое всё кругом. А?

Лампа отчаянно борется с темнотой. Она как маленький стеклянный донкихотик. Разве ей справиться?

Абношкин подходит к полке, отодвигает марлевую занавесочку:

— Ну что, по маленькой?

— Нет, спасибо...

Жаль его обижать, да неудобно как-то сейчас пить.

— Ребята затеяли столбы ставить, свет проводить, — говорит он.

— Слышал, — говорю я.

— Столбы я дам, — хрипит он. — И ты будешь?

— Буду, — говорю я.

Он мне кажется очень большим, этот председатель. Он до конца не раскрылся. Он велик, как вся Васильевка. Но что-то с ним неладное происходит. Это я вижу по его глазам.

— Вы песни любите?

— Было, было, а как же, — хрипит он. — Самый заводила был.

Мне хочется погладить его по щеке. Хочется посентиментальничать. Но я креплюсь. И воспоминания собственные делают меня (на один час хотя бы) суровее и строже. Я был солдатом. Я воевал. Я!.. Я многое успел уже попробовать. И он воевал... Мне хочется говорить с хрипотцой, встать перед ним с распахнутым воротом, сказать: «Вот так, брат Иван...» — и, попрощавшись, выйти и услышать вслед калужское «до свиданья», теплое, как парное молоко.

— Туман какой-то, — говорит Абношкин, — с глазами что-то. Вот в двадцать первом было ой как худо кругом, а здоровья хватало... В войну — и говорить нечего, а не жаловался... Машину за передок поднимал будь здоров. И видел всё. Далече. Вот — я, а вон — мироед... И в войну: вот — я, а вон — фриц... Поистрепался, ну что ты скажешь?! Вот беда... Может, пропустим, а?

— А давайте, — говорю я.

И потом, опрокинув стопочку и прокашлявшись, он говорит:

— Голод был на Волге в двадцать первом ужас какой... А нас у самих вот-вот... Мы, значит, комсомолия голожопая, ну чего делать? Чем помогать?.. Где чего возьмешь?.. А ну, ребята, айда побираться! Братья с голоду пухнут! Наши!.. Вот, значит, ходим по дворам, просим. Кто что дает... Разжалобить ведь тоже уметь надо, а как же... Ну, значит, дают. Ну там горсть проса, корочку, огурец соленый, лепешку. Так до вечера ходим с торбами. Вечером в общую торбу сыплем. И опять с утра понеслись. По всему уезду три подводы собрали... Скорей, скорей!.. Ребятишки мрут!.. Собрали — и в Калугу. Вот скрипят наши возы, а мы — рядом. От мешков едой пахнет, а у нас ноги от голода не идут... А никто ни крошечки ни махонькой не берет. Агитировать не надо было. Видишь как...

Он долго и с трудом кашляет. Потом молчит. Смотрит в темные окна большими своими глазами.

— Ну, давай еще по одной?

— А давайте. За вас...

— А это всё равно, — хрипит он. — Наши чего-то запаздывают... Может, в кино зашли... Я вот прошлым летом картину смотрел. Такую жизнь хорошую показывали. Колхоз тоже какой-то... — он смотрит на меня прищурившись, — земля у них лучше, что ли?.. Или, может, климат такой подходящий, а? Ты как думаешь?

Неладное с ним что-то.

— Не знаю, — говорю я. — Может, и климат. Я этой картины не видел.

Потрескивает огонек в лампе. Словно она рассказывает что-то. А что, никак я понять не могу. Слов слышать не умею.

— До света тоже руки вот еще не дотянулись, — говорит Абношкин и смотрит на лампу. — Мужиков мало...

— А Вере, наверное, и в самом деле замуж пора, — говорю я.

— Приглянулась она тебе?

— Ну что вы!

— А что ж? Она красивая, скромная. Тут за ней один инспектор молодой бегал, — он смеется с натугой, — потом узнал про нее: батюшки, отец — вредитель. И всё. Кому охота с пятном-то ходить. Верно?

— Неверно, — говорю я.

— Ну, как знаешь, — хрипит он и смотрит на меня с прищуром, словно изучает.

Ладно, Абношкин, я ведь не ребенок. Нечего меня изучать. Я не из пугливых. Нечего...
— Только ты учителей-то ваших не соблазнишь столбы копать, — говорит он.
— Почему это?
— Они свое любят... А бесплатно-то копать...
— Что же, я один буду? — говорю я. — На черта мне...
— А это как хочешь... — хрипит он. — Ты огурчика возьми. Они в самый раз. Бодрые...
И большой огурец с хрустом исчезает в его губах, больших, мягких и медленных.

ПУТИ ТВОИ НЕИСПОВЕДИМЫ

Вечер. Мы с Виташей идем на педсовет. В учительскую. Это будет знаменитый педсовет.
— Сейчас Шулейкин с тобой счеты сведет, — смеется Виташа. — Он давно готовится.

Он это умеет.

Пришла пора. Я знаю. Я чувствовал приближение грозы. То бьет, то ласкает. Непокойно ему со мной.

— Потягаемся, — говорю я спокойно.

Он смеется.

— А ты, Виктор Павлович, как раз и припомнишь ему всё, да? Припомнишь? — говорю я. — Ты ведь помнишь, как в драку рвался?

Он смеется. Потом говорит:

— Ладно, не горюй. Одна голова хорошо, а две лучше. Что-нибудь придумаем.

— Смотри, — говорю я.

Он смеется:

— Ладно, ладно. У нас тоже свои принципы.

А в учительской, как всегда, все уже расселись. Шулейкин отдает последние распоряжения. Вот сейчас наш корабль отвалит от причала и уйдет в неизвестность. Он стар, этот корабль. Корпус его скрипит. Ржавчина его изъела. Лишь краска свежа на его бортах и дыры аккуратно заткнуты тряпочками; хоть и тряпочками, а заткнуты... Но чего-то все-таки не хватает... Не пойму чего. Уж очень тихо все сидят. И лица у всех немного вытянуты.

Виташа подталкивает меня в бок. Я вижу: в углу сидит заведующий районо Петунин. Маленький круглый человечек с наголо обритой головой.

Я здороваюсь с ним. Он кивает мне едва-едва. Ну вот. Меня будут бить по всем правилам и в присутствии начальства. Крикнуть, что ли: «Э-э-эх!.. Да ну вас всех к черту» — и уйти?.. Это им важно запротоколировать комедию. А мне она не нужна... Мне самолюбие дороже. Я не жулик...

Мы садимся с Виташей у печки. Две лампы льют желтый, тусоватый свет. Курить можно. И уже дышать нечем. Что же дальше-то будет?..

Идет педсовет. Обсуждаются всякие дела. Я почти ничего не слышу. Ерунда какая-то всё... Меня не упоминают... Пока. Интересно, как Шулейкин будет меня уничтожать? Я скажу ему: «Всё вы врете!» — а он скажет: «Ну вот, видите?..» — а Мария Филипповна скажет: «Он всегда кичится!.. Подумаешь, университет окончил...» Только бы мне не принимать всего всерьез. Не поддаваться. Пусть не думают, что я готов в петлю... Черта с два!

Вдруг кто-то произносит мою фамилию. А я ловлю себя на том, что, как собака, поворачиваю ухо в ту сторону и настораживаюсь. И это меня смешит...

— Сейчас драчка начнется, — шепчу я Виташе.

Он ободряюще улыбается мне.

Потом объявляется перерыв. А шума обычного нет. Все сидят почти неподвижно. Все косятся на Петунина. А он встает и катится в мою сторону. И спрашивает меня:

— Ну, как у вас дела?
— Да вот сечь меня собираются, — говорю я.
Виташа мелко смеется.
— Сечь? — говорит Петунии. — Ну не без этого...
— Конечно, — говорю я.
— Наверное, есть за что...
— Наверное, — говорю я.
— А на вас жалуются, что успеваемость низкую даете, — говорит Петунин.
— Не всё сразу, — говорю я.
Мне теперь всё равно. Я прекрасно понимаю, к чему он клонит.
— Значит, конфликт с директором?
— Вам видней, — говорю я.
— А может быть, на вас наговаривают?
Мне чудится издевка в его словах. Петунии откатывается на свое место. Я сажусь.
— Ничего не понимаю, — говорю я.
— Н-да, — говорит Виташа. — Дело темное...
И снова, но уже тихо-тихо, звучит моя фамилия. И Шулейкин, едва освещенный лампой, рассказывает о моих грехах. О, мои грехи! Их так много, и они так ужасны...
— ...Откололся от коллектива... Противопоставил себя...
— Правильно, — говорит Мария Филипповна.
Я смотрю на Петунина. Он слушает Шулейкина и кивает головой.
— ...Самая низкая успеваемость по письменному русскому... Был Виктор Павлович...
Катастрофа...
— Был я на уроке, — говорит Виташа, — и не на одном...
Скажи им, Виташа, скажи...
— ...Такой отсебятины я еще не встречал... Для чего же существует Министерство просвещения, а?
— Может быть, мне уйти?! — вскакиваю я.
— Может быть, вы мне договорить дадите? — говорит мне Виташа.
— Спокойнее, — говорит Петунин.
— Вот так он всегда, — говорит Мария Филипповна.
Ну погодите, погодите же!..
— Вы хвастались ученикам, — говорит мне Шулейкин, — что вам на всех наплевать, что у вас своя, мол, голова на плечах, что программы — это чепуха...
— Кто вам сказал? — говорю я.
— Это неважно, — говорит он.
— Я говорил, что программу нужно дополнять! Я говорил, что очковтирательство... — Я кричу.
— А зачем кричать? — спокойно говорит Шулейкин.
— Умейте ответ держать, — говорит Мария Филипповна и смотрит на Петунина.
А мне плевать на Петунина! Плевать!..
— А может быть, вам пора ответ держать, Михаил Андреевич, — негромко говорит Петунин из своего угла...
Становится ужасно тихо. Дым папиросный уносится к потолку. Виташа подталкивает меня под бок. У Марии Филипповны белеют губы.
— Вы оскорбляете учителя, не имея на то основания, — говорит Петунин Шулейкину.
— У меня все факты... Вот, — говорит Шулейкин и показывает кипу бумаг.
— Без фактов нельзя вести серьезный разговор, — говорит Петунин.
— Да вот же факты, Петр Сергеевич! — говорит Шулейкин и пытается улыбнуться.
— Взяли вдруг и обвинили, — говорит Петунин, — а фактов-то и нету...

— Да вот факты, — растерянно говорит Шулейкин.

— Эдак мы все друг друга начнем поносить. Что же будет? — говорит Петунин жестко, — Без фактов нельзя.

— Я все факты имею, — почти шепотом, безнадежно говорит Шулейкин.

— Вы лучше скажите, куда вы деваете контрольные работы, — говорит Петунин, — которые вам лень проверять? Сжигаете, да?

Шулейкин молчит. Что это происходит? Меня защищают?

— А во что он школу превратил! — кричит Виташа. — Все из-за него перегрызлись. Вы бы посмотрели, как он несправедливо картофельные участки распределял! И всякие разговоры... И на стенках всюду написано: «Кобель». Это о ком? Разве таким должен быть директор?!

Шулейкин пунцов, как переспевший помидор. И жалкая улыбка шевелится на его губах. А может быть, он плачет?.. А Виташа кричит, как Шулейкин по ночам прокрадывается к одной вдове...

— Это уже сплетни, — тихо говорит Шулейкин.

— Продолжайте, Виктор Павлович, — требует Петунин из своего угла.

Что делается?! Неужели это всё из-за меня?

— Гы-гы, — говорит Маракушев, — а вы ведь, Михаил Андреевич, мне дров нарочно не давали, пока снег не пошел.

— Врете вы все, — говорит Шулейкин, не поднимая головы.

— Нет, он не врет! — стучит Петунин ладонью по столу.

— Гы-гы, — говорит Маракушев. — Вру, вру... А вот не вру!

— Так ему, гаду, — шепчет мне Виташа. — Допрыгался...

Что делается!.. Шторм. Ураган. Корабль сейчас на дно пойдет. Во все дыры вода льется. А тряпочки поверху плывут... Кто прав? Кто?.. Почему я тоже не кричу? Что, Шулейкина жаль? За что мне его жалеть? Топите его! Топите! Пусть знает!

...А потом я догоняю Петунина в коридоре.

— Что же теперь будет с Шулейкиным? — говорю я. — Теперь что, снимут его?..

— Решение облоно о снятии есть, — говорит он. — Почему «теперь»? Засиделся Шулейкин...

— Значит, это всё из-за меня? — говорю я.

— А при чем здесь вы? — говорит он, и смотрит куда-то мимо меня, и быстро уходит прочь.

Все расходятся. Почти никого не осталось. Только Шулейкин стоит у дверей учительской. Курит. И Мария Филипповна стоит рядом. И я слышу:

— Да вы успокойтесь, Михаил Андреевич...

— А я и не волнуюсь, Мария Филипповна...

— Вы не обращайтесь внимания...

— Да что вы...

— Мало ли что говорят...

— Вы сами успокойтесь, Мария Филипповна...

— Как они это нехорошо!..

— Ничего, ничего... Пустяки...

Уже пять дней прошло, как Шулейкина сняли. Нового директора пока нету. Обещали прислать. Экзамены на носу. Клара Ивановна пока робко командует. Все ходят тихие.

— Как же теперь Шулейкин будет? — говорю я Марии Филипповне. — Уедет?

— Зачем же ему уезжать? — удивляется она.

— Да трудно ведь... Быть директором... Теперь насмешечки...

— Я с ним говорила об этом. Я ему говорю: «Вам бы лучше уехать, Михаил Андреевич...»
— а он мне: «Зачем мне ехать? И куда мне ехать?.. Что, учителем не могу работать?..» Да и вообще, я давно знаю... — она говорит шепотом, — он ведь не очень-то директорством своим дорожил... Он ведь не хапуга...

— Хапуга?..

— Ну он покой любит. А директору-то, знаете?.. Каждому ведь свое. Директором надо быть энергичным. Правда? А он книжки любит читать... Помечтать.

Теперь почти вся школа взялась рыть ямы и столбы устанавливать. Уже десять столбов вкопали. Маракушев посмеивается:

— Гы-гы... А мне свет ваш не нужен... Я и с лампой хорош...

— Эх вы! — говорю я. — Ученики мозоли натирают... А вы?..

— Гы-гы... — смеется он. — Молодым везде у нас дорога...

Но он приходит все-таки.

— И вы здесь, Михаил Андреевич? — удивляется он.

— А что ж тут странного? — говорит Шулейкин из ямы.

— Да вроде бы директором были... Неудобно, должно быть...

— А вы помогайте лучше, — говорит Маша Калашкина.

А Шулейкин ничего не говорит. Он роет. Почти одной левой рукой. Правая у него какая-то странная.

А ЕЩЕ ПРОВЕДЕМ ДОРОГУ

— Вы все-таки решили уехать? — говорит мне Шулейкин.

Мы сидим на круглом гладком бревне под вековым дубом. Сквозь свежую листву ударяют тонкие солнечные струи. В поселке тишина. Ваня Цыганков сидит рядом. Он в резиновых сапогах. Рядом с ним — Коля Зимосадов.

— Решил, — говорю я. — В город тянет... Я ведь бродяга. — Я смеюсь. — И вообще дела всякие. В газету меня зовут.

— Да, — говорит Шулейкин. — Вон и учителей новых прислали. Все с высшим образованием.

— Нам бы еще печи в школе починить, — говорит Ваня Цыганков.

Жара. Июнь.

Коля Зимосадов сидит как на семейной фотографии — ладони на коленях. Неподвижно.

Вот так же он сидел на экзаменах. Потом вышел и сказал всё, без запиночки. О Коля!.. Шулейкин присутствовал на экзамене у меня в классе. Он ставил всем лучшие оценки, чем ставил я.

— Зачем же так сурово? — сказал он мне. — Они же прекрасно отвечают...

После письменных экзаменов получилось шесть двоечников!

— Вот так, — сказал я.

— Ничего, — сказал Гена Дергунов. — Осенью пересдадим.

— Лучше бы не пересдавать, — сказал Шура Евсиков.

— А я уже не пересдам, — сказала Маша. — Всё.

— Замуж Машка собралась, — сказал Саша Абношкин.

— Не, — сказала Маша, — я на торф поеду. Работать. Там по семьсот рублей заработать можно. Эх вы, колы мои, колы!

— Зато без обману, — сказал Ваня Цыганков.

После этого как раз я и сказал им:

— Я тоже уезжаю.

Они не кричали. Не побежали ко мне. Было недолгое молчание. Потом Ваня Цыганков сказал:

— Я бы тоже уехал...

И все засмеялись.

— Вот теперь вы и уезжаете, — говорит Шулейкин, вытирая пот со лба.

Жара. Полдень. Ребята встают и уходят.

— Мы скоро, — говорит Коля Зимосадов.

— Ребята, вы не забудьте вернуться, — смеется Шулейкин.

Он вытирает пот со лба. Он сидит в черном пиджаке. Он машет рукой.

— Такая жара, — говорит он, — что даже глупостей делать не хочется.

— Сняли бы пиджак, — говорю я.

— А жаль, что вы уезжаете, — говорит он. — Мы цапались тут с вами... Всё равно жаль...

— Мне и самому это трудно, — говорю я. Мне совсем не трудно. Это чтобы не обидеть его. Все пришло к концу... Надо ехать. Вот вкопаем сегодня последние столбы, и поеду я. Хватит с меня холодной кельи, сплетен, голодовки... Пусть новенькие попробуют...

— Без хозяйства своего здесь, конечно, трудновато, — говорит Шулейкин.

— А как Виташа вас прижимал на педсовете, а? — говорю я, как распоследний иезуит.

— Тоже жить хочет, — без злобы говорит он. — Обстоятельства... Такие обстоятельства...

— Это магическое спасительное слово. — Зато Виташа предмет знает свой. Его голыми руками не возьмешь.

— Послушайте, — говорю я, — это правда? Ну, теперь дело прошлое... Это правда, что вы некоторые контрольные работы... ну, не проверяли?..

— Я их в сортир спускал, — говорит Шулейкин. — Это очень удобно... — И после паузы: — А вы не пробовали у Виташи в долг просить? Вы бы попросили.

— Мне не нужно.

— Ну ради интереса...

— Да ну его к черту.

В Васильевке петухи кричат. Такая тишина, что даже отсюда слышно. Они кричат о жаре, о синем небе. Вон она, Васильевка, серой цепочкой протянулась там, за оврагом. И жизнь по этой цепочке и идет. И у каждого своя...

— Абношкина-то снять хотели, — говорит Шулейкин. — Народ не дал.

— А что он?

— Обижен он... Молчит.

Я вижу большую грузную тень Абношкина. Она, покачиваясь, поднимается над крышами Васильевки. Медленно и беспокойно. Она тяжела. Она разбухает от забот, от любви и от печали. Она встает уже над всем горизонтом, пытается что-то сказать... Трудно ему там, председателю. Я вижу большие печальные его глаза. Он то встает во весь рост, то наклоняется, копошится в большом своем нелепом огороде.

Кричат петухи. Огромное облако выкатывается в небо и уплывает куда-то в сторону.

— Я видел его вчера, — говорит Шулейкин. — Сам не свой...

Неладное с ним что-то, с Абношкиным. Я чувствую. А помочь не могу.

Какая-то молодая женщина идет к нам по дороге. Она одета по-городскому. Она подходит ближе. У нее приятное умное лицо, правда немного растерянное.

— Новая учительница, — тихо говорит Шулейкин.

Она подходит прямо ко мне.

— Мне сказали, что вы москвич, — говорит она. — Я бы хотела поговорить с вами.

Мы идем с ней по дороге, под дубами.

— Ну как здесь? — спрашивает она. — В этой дыре?

— Ничего, — говорю я, — по-всякому.

— Какая жуткая тишина, — говорит она.

— В Москве, конечно, интереснее, — говорю я.

— Я знала, куда еду...

— О чем же тогда спрашивать?

Губы у нее кривятся. Но в них — сила. Это сразу бросается в глаза... А там Абношкин о своем страдает. Маша Калашкина любит своего тракториста. Коля Зимосадов, набычившись, идет куда-то с полевой сумкой через плечо...

— Почему дыра? — говорю я.

Она не отвечает. Что-то нетерпеливое сквозит в каждом ее движении. Мне вдруг вспоминается Сутилов и прохладная его улыбочка.

— А знаете, — говорю я и сам пытаюсь улыбнуться, — это ведь знаменитое место...

— Ну?

— Здесь бывал Толстой... Лев, — говорю я.

— А где вы покупаете продукты? — спрашивает она.

— В Козельске, — говорю я. — Всего пятнадцать километров... Сестра Толстого была здесь монахиней.

— Электричества, конечно, нету, — говорит она.

— Пока нету, — говорю я. — Мы вот столбы вкапываем...

— Почему вы?

— Мы и ученики...

— Почему?... Почему?..

— Не знаю... А кому же еще?... А что?

— Что же вы бежите из вашего рая? — Губы ее кривятся. Но лицо остается приятным. Ей идет быть немножко злой. — Почему же вы бежите?

— Не знаю... Приглашают в районный центр... Не знаю...

Она смеется. Что я могу ей объяснить? Пусть поживет, а потом встретимся, поговорим.

— А вы что, — говорю я, — приехали посмеиваться?

— Я приехала работать, — говорит она жестко. — Вот именно.

Действительно, как это получилось с отъездом? С моим отъездом? А вот так и получилось. Копилось, копилось... И получилось... Вот и пора. Ты рад? Чертовски... Рад? Не знаю...

Мы возвращаемся к бревну, на котором сидит Шулейкин.

Мне не жаль ее, эту москвичку. Чего ее жалеть?

— Вон там расположена деревня, — говорю я. — Там вы будете работать... периодически.

— Представляю себе! — говорит она.

— Вон идут мои ученики, — говорю я. — Впереди идет Гена Дергунов. Видите? Это самый слабый ученик. Но прекрасный парень...

— Слабый ученик, но прекрасный парень?!

Я ей не угодил.

— Вы зря уезжаете, — усмехается она. — Вы очень вписываетесь в эту обстановку, — она обводит рукой вокруг. И смотрит, как я обижусь. Но так жарко, что мне лень обижаться. Да и необидно.

Мы подходим к бревну одновременно с ребятами. Гена Дергунов протягивает мне плоский сверток в газете. Ваня Цыганков смотрит в сторону. Коля Зимосадов — в землю.

— Это вам, — говорит Гена Дергунов.

Я разворачиваю газету. Легкая коричневая рамочка для фотографий ложится на ладонь. Она обклеена аккуратными квадратиками золотой соломы. Искусный узор золотится под солнцем. Это похоже на инкрустацию из перламутра.

— Мне? — говорю я и, наверное, глупо улыбаюсь при этом.

— Вам, — говорит Гена Дергунов. — Это вам на память. — И он краснеет.

— Вот так штука! — говорит Шулейкин.

Ваня Цыганков смотрит куда-то в сторону. Коля Зимосадов — в землю. Жара. У новой учительницы кривятся губы. И на ресничке дрожит зеленая слеза.

— До свидания, — говорит она. — Я пошла.

— А вот мои ученики! — кричу я ей вслед. — Уж вы их не обижайте...

Ваня Цыганков смеется. Она уходит, не обернувшись. Только шевелит рукой, словно отмахивается.

— Жаль, что не сфотографировались, — говорит Шулейкин.

— Давайте копать, — говорит Коля Зимосадов.

— В самую-то жару? — говорю я.

— Давайте, — говорит Шулейкин. — А то уснуть можно.

Мы роем последнюю яму. Вкапываем последний столб. Шулейкин работает в пиджаке. Он весь в поту.

— Да снимите же, наконец, пиджак!

— Ничего, — говорит он. — Это даже полезно.

Работа подходит к концу. Ребята копают молча. У меня спина болит и шея горит от пота. Ничего, ничего, сейчас — всё... Зачем я ковыряюсь в этой земле?... А вот затем и ковыряюсь... Зачем же... А вот затем... А у этой зеленая слеза на реснице висела... Ерунда... Все — люди, только петушатся иногда...

— Абношкина жаль, — шепотом говорит Шулейкин. — Они на него все навалились.

— Им бы только давай-давай, — громко говорит Коля Зимосадов.

— Тише, тише, — говорит Шулейкин. — Да никого же нету, — улыбается Гена Дергунов. Неладное с Абношкиным. Я видел его позавчера. Он еле поздоровался со мной.

— Как здоровье? — спросил я.

— А вот как, — прохрипел он и пошел прочь.

Неладное с ним что-то.

— Так ведь и затравить недолго, — говорю я.

— Тише, тише, — просит Шулейкин. Кончим копать — пойду к Абношкину. Попрощаюсь.

Хорошие слова какие-нибудь ему скажу.

— Всё, — говорит Шулейкин и утаптывает землю у столба.

— А еще проведем дорогу, — говорит Ваня Цыганков. — Камнем выложим.

Мы идем к Серене купаться. Мы спускаемся к ней гуськом. Серена — ослепительно зеленая. Она извивается. Она зарывается в прибрежные кусты, словно сама жары боится.

— А где же Михаил Андреевич? — говорю я.

Шулейкина нет.

— А он со всеми не купается, — говорит Ваня Цыганков. — Он один всегда. Вон там, за поворотом, его место.

Я понимаю... Был директором. Командовал. Теперь, после всего, с мальчишками в воду лезть...

Я плыву за поворот. Осторожно вылезаю. Прячусь за куст. Мне хорошо видно, как Шулейкин ныряет. Потом он вылезает на берег. Скачет на одной ноге... Конечно, разве поскачешь перед мальчишками?... Он хорошо сложен. Невысок, коренаст... «Мишка из-под сохи»... А в волейбол играть не умеет. Он ложится на траву. Закрывает глаза. Я смотрю и ничего не понимаю: вместо правой руки — что-то лиловое, бесформенное, страшное... Веточка из-под моей ноги падает в воду. Шулейкин вскакивает и быстро натягивает рубаху. И смотрит по сторонам...

Почему он не дал Виташе по шее, когда тот потешался над его рукой? Так вот оно что!.. Шулейкин, Шулейкин...

Что ж ты свои раны бережешь? Почему не бряцаешь ими? Только и знаешь, что пытаешься обнять себя самого...

И вдруг звон, похожий на далекий трамвайный звонок, раздается над рекой и стихает.

Зовет. Зовет меня. Ждет... И красный листок какой-то лежит на траве, словно красный вагон, остановившийся на последней остановке где-то в лесу...

Шулейкин медленно уходит вверх, в поселок. Он всё время оглядывается. Черный пиджак его мелькает среди зеленых ветвей.

Я иду по дороге в Васильевку. Птицы кричат над самой головой. Из оврага поднимается горячий воздух, и жаворонок купается в нем. Жара.

Они кричали на Абношкина. А он, наверное, хрипел и переминался с ноги на ногу. Он молчал, но запоминал каждое слово. Он долго помнит... Он, наверное, чувствует себя виноватым. А простить себя — самое сложное. Для партизана это нестерпимо — чувствовать себя виноватым, когда не виноват. Так? Правильно я все понимаю?

И почему такая тишина, как будто все ушли куда-то? Большое молчаливое кочевье снялось с места, и — поминай, как звали!.. Почему такая тишина?

— Эгееееей!.. — кричу я и сам себя не слышу.

Неладное с Абношкиным что-то... Я прибавляю шаг. Я почти бегу. Я словно и не купался в реке. Снова весь в поту...

Случись что, и никто ведь не услышит. Никого нет. Я почти бегу.

Саша Абношкин спускается с крыльца.

— Где отец?!

Надо бы спокойнее...

— Дома отец?

— Дома, — говорит Саша Абношкин. — Пошел в сараюшку ружье почистить.

Ружье? Вот как!.. Я вбегаю в сарай. Сперва ничего не вижу. Потом темень рассеивается. Абношкин сидит на чурбачке. Голову подпирает одной рукой, в другой — ружье охотничье.

— Здравствуй, — хрипит он. — Уезжаешь?

— Попрошаться пришел... — еле выговариваю я. — Что это вы ружьем занялись?

— А что?

Он смотрит на меня внимательно большими своими, печальными глазами.

— Мы все столбы врыли, — говорю я. — Вроде бы не сезон сейчас для охоты...

— Хорошо, что врыли, — хрипит он.

— Рано вы что-то к осени стали готовиться, — говорю я и киваю на ружье.

— Теперь бы еще к Васильевке столбы протянуть. Без света плохо ведь... — говорит он.

— Ребята дотянут, — говорю я. — А вы не обращайтесь внимания...

Он смотрит то на ружье, то на меня:

— Ты это о чем?

— Мало ли трудного бывает, — говорю я.

— А я думал: и не увидимся больше, — хрипит он.

— Что?!

— Ну, уедешь... не зайдешь... Ты пройди в тенек. Чего в дверях стоять.

Он усмехается и вешает ружье на стену сарайчика. Потом оборачивается ко мне и снова усмехается:

— Ну что, упрел? Да? Бежал, что ли?

— Жара, — говорю я.

И мне хочется обнять его.

Ленинград, 1962